

**Владимир  
ВЕЩУНОВ**

*г. Нижний Новгород*

**ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ**



*повесть*

Электричество в Зимиху ещё не провели. В избях вечеряли при свечах и керосинках. В клубе гнали кино с помощью движка от трактора «натика». Клуб – обыкновенная добротная изба без горницы. Печь-голландка да заёрзанные до блеска длинные лавки.

Тихо в деревне. Сонно промычит в стойле бурёнка, фыркнет жеребчик, взбрехнёт пустолайка.

У клуба татакает движок. Сегодня – «Семьёро смелых». На необитаемый остров в Арктике с парохода высаживаются шесть зимовщиков. Прощальный салют – и пароход скрывается за горизонтом. Полярники распаковывают груз – и обнаруживают «зайца»... Мелюзга, задрал головы, елозит перед экраном-простыней на стене. Взрослые лужаю семечки и снисходительно лыбятся, когда седьмой вылезает из ящика... В который раз замелькали точки, тире, звёзды, буквы, полосы – опять обрыв или лента кончилась.

– Еропкин – сапожник, ёкарный бабай! Киншика, язви его, на стельку! – слышится озорной свист.

Пока киномеханик перематывает ленту, мужики и детвора выходят на улку. Свежо. В темноте мигают огоньки сигарок. Небо вывозило. Живые звёзды вздрагивают в запорошенном туманностями небе. Мужики степенно обсуждают колхозный трудовень. Теперь он повесомее, чем в прошлом году, можно и кино посмотреть. Детва носится, верещит. Цыть, оглашенные, ещё не набегались за день! Застрекотал аппарат, картина продолжается.

Мужики неспешно заканчивают с куревом. Ребятишки уже задрали головёнки, смотрят. Не очень интересно. Начинают барахтаться. Снова замелькали звёзды, буквы, полосы. Перекур. За картину таких перекуров с дюжину. К ним уже привыкли. Самые сопливые освобождаются в сторонке по-малому. Мужики смеют. Женщины без них судачат побойчее, откровеннее. Девчонки вроде бы сами по себе, а прислушиваются к бабьим пересудам.

Цирк приехал! Вот радости-то!.. Один Тимофей Каратыгин помрачнел. Сунул сынишке гривенник, и тот умчался в клуб. С трудом

свернул сигарку из газетки, набил самосадом из кисета. За долгие годы наловчился правой культей и здоровой левой рукой легко проделывать эту курительную операцию. Теперь же разволновался. Запалил сигарку. Задымились воспоминания...

Первый снег запозднил, выпал только сегодня, в конце октября. Катается по большаку Федюнькин дружок Верный, собирает на себя снег и весело отряхивает на мальчика.

Нынче в клуб идёт много народа. Свежо, капустно похрустывает под ногами первый снежок. Говор, смех громче, чем обычно. От снега стало просторнее, светлее.

У клуба по-прежнему стучит движок. Циркачам понадобился свет. Сегодня ребяташки пристроились со взрослыми на лавках: перед экраном будут выступать. Занавеса в клубе нет. Артисты привезли с собой свекольного цвета плюш и закрылись им от зрителей. Зимихинцы уже раз пять начинали хлопать. После хлопанья всем казалось, что плюш шевелится пуше. И снова раздавались хлопки, гуще и долгие.

С боков из чёрных застеклённых ящиков на сцену хлынул свет. Плюш разошёлся. Вышел мужчина в чёрном фраке, с бабочкой, похожий на стрижа, и объявил представление. Первым номером были акробаты-прыгуны. Сколько их прыгало и вертелось — не сосчитать! Братьев-акробатов сменила пышная голубятница. На блестящем колесе крутились белые мохноногие голуби. Выступили они, и на их место уселся хохлатый попугай. Дрессировщица спросила его:

— Скажи, Коко, как тебя звать?

— 3-з-др-рас-сте! — проскрипел попка.

— Конечно же, сначала надо поздороваться. Молодец, Коко! Поздоровался, а сейчас представься, пожалуйста!

— Ко-ко-ко-кореку-у!.. — тот растопоршил хохол и выпучил глаза. — Ко-ко-ко-кореку-у!.. повторил он.

— «Коко» правильно, а «реку»-то зачем? «Реку» не надо!

— Надо, надо, надо!.. — замотал головой попугай.

— Ты что, петух, да?

— А ты, а ты!.. — собрался что-то сказать циркач.

Дрессировщица погрозила пальцем и приготовилась накинуть на строптивца платок.

— Дуся! — выпалил Коко и сжался: его хозяйка печаталась на афишах как Дульсинея. — По-ка, по-ка!.. — закончил выступление Коко.

Молодёжь громко хлопала говорящему попугаю. Хотя он и отвечал невпопад, но так получилось ещё смешнее. А вот старики недовольно ворчали. Особенно бурчал ветхий дед Сидор. Он помнил ещё те времена, когда в лесу водились попугаи. Что это была за птица, никто толком не знал. Говорит — стало быть, попугай. Скрипит, бывало, на жестоком морозе воз с дровами. Морда и пах лошадиные курчавятся в куржаке. Из ноздрей струи пара. Возница сбоку пританцовывает в тулупе. И вдруг оторопь леденит и человека, и лошадь — совсем рядом слышатся человеческие голоса!

— Ох, мороз ноне не тот, что давече!

— Да, кум, вишь, лошадь вся в куржаке!..

Хоть все знали, что это птица попугай разговаривает, но многие боялись в одиночку отправляться в лес. Сказывают, остался после масленичной ярмарки балаганный попугай-говорун. Тоскливо ему стало без успешных представлений, вот он и балакал сам с собой разными голосами. А цирковой попка — ни бе ни ме!

Дрессировщица не успокоилась, решила исправиться. Вышла с белой собачкой, такой лохматой, что из-за лохм не было видно глазёнок. Белянка села на задние лапки и принялась лаем считать, сколько будет один плюс три, два умножить на два, от семи отнять четыре... Лаяла она правильно! Потом стала складывать карточки с цифрами. И этот счёт вышел у неё тоже без ошибок. Смышлёная!

Женщина вынула из рукава свирелечку и загнусавила на ней. Собачка не выдержала, тьякнула и заподвывала. Затем вовсе расстроилась и заскулила. Дрессировщица довольно подмигнула публике.

— Будь ты прова<sup>1</sup> совсем! Расквелила<sup>2</sup> собачонку, фуфыра непутящая! — проворчала позади Феде Авдотья, которая сама пасла телят с помощью дудочки.

Она ещё что-то бубнила, а на сцене уже дул в свирельку клоун. Нос картошкой, лицо размалёвано, рубаха в горошек навывпуск, штанины короткие и разные; штиблеты большущие, с задранными носками. Конферансье забрал у него свирельку. Тот воровато огляделся, ловко выдернул из нагрудного кармана рубахи самописку. Отвернул колпачок и пискляво засвистел в него. Колпачок забрал «стриж». Клоун дунул в самописку и забрызгал лицо чернилами. Достал из штанины красный воздушный шарик, надул и стал выпускать воздух, разжимая пипку. Шар замяукал, закудахтал, заплакал младенцем. Конферансье проткнул шар. Раздался «выстрел» — клоун брякнулся на пол и засучил ногами. Вроде с ним припадок. А сам незаметно вытащил у «стрижа» расчёску и защёлкал на ней соловьём. Тот звезданул воршишку тростью. Из глаз бедняги брызнули струи и потекли, размазывая чернила. Он сбегал за плюш, вернулся со звонким тазиком и стал выжимать слёзы в такт песни:

*До свиданья, мама,  
Не горюй, не грусти —  
По-о-же-ла-ай  
Нам доброго пути!..*

Цирковой свет погас, и в темноте запорхала светящаяся девочка-бабочка. То оранжевая, то зелёная, то синяя. Она трепетала, часто махая шёлковыми крыльями. Вот она вылетела из них, похожих на крылья крапивницы. И вдруг у неё «выросли» салатово-голубые — голубянки. Девочка-бабочка закуталась в лимонный шёлк, взмахнула руками и полетела в темноте, трепеща жёлтыми крыльями в изумрудных прожилках с голубыми глазками. Как красива девочка-бабочка!..

Восхищённому Феде было стыдно за зимихинцев. Как-то неблагоприятно относятся к циркачам, в ладоши хлопают не так сильно и долго, как того заслуживают артисты, лузгают семечки, громко разговаривают.

Люди в такую даль тряслись, а деду Сидору пали на ум вещице попугай-птицы из леса. Авдотья-пастушиха нашипела на дрессировщицу. Петро Ренёв, колхозный шофёр, во всеус-

лышание хвастался, как вёз цирк из райцентра Казанки.

Можно подумать, что подобные представления происходят в Зимихе нередко. Конечно, свои чудеса случаются — какая деревня без них обходится! Но живых циркачей из самого Свердловска вряд ли кому из зимихинцев доводилось видеть. Разве бывалому кому, как дед Сидор. В Казанке в старину на Масленку потешали народ ярмарочные балаганы с Петрушками, говорящими попугаями. Медведи плясали вприсядку, шуты из Неметчины Пат и Паташенок дурковали...

Герои книг, школьные учителя представлялись Феде необыкновенными, не такими, как все. Они поди и не сругнутся как следует, ни в баню, ни в уборную не ходят. А тут живые, настоящие циркачи — и на какой-то разбитой «полундре» приехали. Вначале Федя не поверил шофёрской болтовне. Но Петро в десятый раз со всеми подробностями начал свой рассказ с того, как подсаживал деваху, которая вон на сцене представляется бабочкой.

Федя легко поддавался внушению. И фантастический цирковой фейерверк превратился для него в обыкновенное представление вроде еропкинского кино.

К тому времени появился на сцене иллюзионист со своими ассистентами лилипутами. Начал он пилить полуголюю тётку. Её не было жалко. Федя жалел маленьких взрослых человечков с пухлыми детскими личиками. Их-то зачем возит с собой бритоголовый колдун? Чтобы глазели все на чужое горе? Зря это он! Без них куда бы лучше было. Даже зимихинский дурачок Ганя Сторублёвый не выдержал, ушёл. За ним и Федя начал пробираться к выходу. Как вдруг «зал» притих. Моложавая дама в длинном бархатном платье с блёстками таинственно приложила палец к губам: не шумите, дескать! Федя скользнул на место. Дама, прислушиваясь, приложила ладонь к уху. В углу за плюшем послышался стукоток. Артистка приподняла угол занавеса и выдвинула на сцену коробку.

— Ой-ой!.. — заойкала «коробка».

Дама ошеломлённо вскинула руки.

— Ой-ой!.. Помогите! Выпустите меня!.. — раздался детский крик.

Все подумали, что в коробку засунули лилипута. Но артистка достала из неё большую рукавицу. Напаялила на пальцы — и зрителям явилась забавная рожица: улыбка до ушей, хоть завязочки пришей.

— Здрас-сте, я Петруша!

— Глянь, буде, гляди! — Авдотья ткнула Сидора в бок. — Она молчит, как библейская рыба, а он — говорит!

— Ты как угодил в коробку? — открыла рот дама. И закрыла.

— Меня клоун запер! — Рот его сник в грустную скобку.

— Озоровал, наверно?

— Я его вместо попугая попкой назвал.

Чистосердечное признание Петруши вызвало неистовый восторг зимихинцев: «Говорящий!..»

Из плюша выскочил «стриж»:

— Перед вами выступала заслуженная чревоещательница Маргарита Званская!..

Но его никто не слышал. Запомнили только говорящего Петрушу. И Федя Каратыгин запомнил.

Взахлёб рассказал тятю о говорящем Петруше. Но, к его огорчению, он поник головой и попросил свернуть «козью ножку». Затянулся горчайшим самосадом и потряс культей:

— Цирки, буде, до добра не доведут! Это не настоящая жизнь. Обманка! Полруки съела...

Федя не раз пытал тятю о культе. Отмахивался тот: медведь, мол, шатун, помял... А тут цирковой интерес у Федюньки решил отбить:

— Хаживал я с моим Михайло Потапычем и с балалайкой по деревням, по ярмонкам. В Казанке на Масленку он, ручной, сам ко мне сыпотиха<sup>3</sup> напросился. Прежний хозяин выпил изрядно и замёрз в степи. Потешался честной народ, задабривал хлебосольно. Ох, и выкамаривал Топтыгин! Вприсядку под балалайку плясал... Вдругорядь попали в голодный год в голодный край. С голодухи он, друг закадычный, на меня, сонного, позарился. Голод не тётка. Зверь есть зверь! И никаких обольщений!.. Спросонок успел я кулак в пасть воткнуть. Захрипел, задохнулся он. Вот так я отбалалайкался!.. Туша деревне досталась. Оголодал народ. А мне вот коготок!

Тятю история поразила Федю. Он и думать забыл о залётном цирке.

С дверной притолоки Тимофей достал медвежий коготь. Чёрный крюк с металлическим отливом, с «заточенным» остриём — с Федину ладошку! Затявкали пёс, взъерошился кот. Звериный дух всё ещё таился в жутком когте. Федя замер, боязливо держа его на ладошке: вонзится — руку распорет! Тимофей осторожно взял коготь и бросил в печь.

После бродяжничества с медведем жизнь культяпистого Тимохи не заладилась. В сельце, в коем Потапыч оттяпал Тимофею полруки, прошипел негласный суд: на хорошего человека медведушко не нападёт. О сем случае слухи переползали из деревни в деревню. С родных мест Тимофей принужден был убраться подальше, куда с Топтыгиным не совался.

Осел в Зимихе примаком у вдовицы с ребёнком. Непутяшей оказалась бабёнка, гулёвая. Побирušничала в Ишиме, ошивалась на вокзале. Через неделю-другую приползала: лахудрая, ремкачка. Как трагическая актриса, разыгрывала драматическое раскаяние. Ползала на коленях, просила прощения у Феденьки и Тимошеньки. Ревела, рвала седые лохмы, замызганную кофточку на тощей груди... Умотала как-то в свой вожденный город — и сгинула. Ни сын, ни сожитель шибко не горевали. Привыкли к её похождениям, к театральным сценам. Напоследок, как бы предчувствуя лихо, бросила прощальный взгляд на Тимофея:

— Пригляди, Тима, за Федюшкой!

Слёзный комок в горле застрял у сурового мужика. Вот долушка несчастная! По мужу в горе застарелом убивалась, себя позабыла, сынишку...

Подлатал Тимофей избёнку при добром помощничке.

— От рук, Федюшка, умнеет голова! — похлопывал сынишку по плечу.

Смышлёный мальчонка, привязчивый, ласковый. Записал на свою фамилию: Каратыгин.

Усядется рядком на завалинке закадычная четверица: отец, сын, кот Василий, дружок Верный. Все по наружности схожи друг с дружкой. И домик тоже. Вот как роднит единая душа о пяти сердцах!

Попыхивает сладостно «козьей ножкой» Тимофей. Гладит, почёсывает дружка Федя; повизгивает по-щелячьи от счастья Верный. Мурлычет баюн свою сказку. Всем она понятна. О счастье сказка-быль...

Тимофей слесарил на МТС<sup>4</sup>. Культяпистый, ловко справлялся с инструментом. Эмтээсовский стозвон радостно оглашал согру — дернистое поле меж лесом и деревней. И различал Федя в этой «музыке» отборный стук тятиного молотка.

После семилетки Фёдор подался к тятю в напарники. Они чинили плуги, сеялки, веялки, крупорушки, полуторки, комбайны, «натйки» — трактора завода «Натанзон».

В райцентре открыли ШСМ — школу сельской молодёжи, вечернюю. После смены Фёдор спешил в Казанку. Не по большаку, а напрямки, через лес.

Однажды весной споткнулся о корягу. Прежде на тропе она не торчала. А тут вылезла, сунулась прямо под ноги. Выдернул её из талой земли и замахнулся, чтобы забросить подальше. И застыл с поднятой рукой. Он держал — кикимору! Хворост на голове, сучковатый нос, растопыренные ветки — руки-ноги. Стряхнул немного земельку — так и принёс домой в первозданном виде: присохшие комочки земли, мох, пакля травы, палые листья вместо юбки. Собрался было облагородить: пошкурить, покрыть морилкой, лаком. Да спохватился: негоже вторгаться в такую красу лесную. Природа-ваятельница сотворила, искусница!

Анчутка-лешак почти в таком же наряде попался. Вешние воды в вымоинах отшлифовали зверушек: лисичку, зайчонка, оленёнка. Набралось целое подворье домашней живности: курочки, петушок, хрюшка, козлик, конёк, бурёнка. И на цирковой манер коллекция собралась: акробаты, гимнастки, танцовщицы, силачи, клоуны. Лесных находок ни ножичек, ни резец почти не касались. Все произведения природы оберегались в исконном облике.

Тимофей дивился необычному пристрастию сына, покряхтывал недоуменно. Мастер по железу сподобился ребёнку: забавляется игрушками-деревяшками. Но как-то преподнёс

Феде омелу. Этот вечнозелёный кустарничек-паразитик прилепился к вековой липе на околице. Выглядел он нарядно: шар из хитросплетений, зелёные листочки, белые ягодки. Он так и напрашивался к празднику, цирковому! В ажур веточек омелы Фёдор поместил весь цирковой парад-алле. Вот такая корнецирковая пластика!

Поморщился Тимофей, глядя на этот «цирк»: медвежью услугу оказал сыну. Как чуял старый, что заманит его «омела»...

Сдружился Фёдор с молоденькой училкой. Жанна Ильинична вела русский и литературу в обычной школе и в вечерке, в ШСМ. Фёдор пригласил её к себе, познакомил с отцом. Увидев Фёдорову галерею, Жанна Ильинична восхищённо всплеснула руками. Загорелась организовать выставку в казанском Доме культуры. Каратыгин упирался: эка невидаль! Она зазвала его к себе. Напоила чаем с печеньем-конфетами. И учинила ликбез. Открыла крышку радиолы «Рекорд», поставила пластинку с музыкой Лядова «Кикимора».

Тихая грусть ночного леса, теньканье хрусталиков росы. Писк, повизгивание птиц, зверушек. Всполошенность. Тревожность... И вдруг глубь леса пронзает жутковатое верещанье. Кикимора! Лес взбудоражен. В смятении носятся совы, нетопыри. Вопли болотной выпы. Мяуканье, вой, визги ночных существ. Мечутся тени... Дикая свистопляска. Буйство. Бурная, неистовая Кикимора! Стрекошет, злорадно хихикает... Забресжило. Улеглась круговерть. Загадочная, сказочная тишь...

Ошеломлённый, Фёдор потрянул чубатой головой. Но природная симфония звучала в голове. Она была созвучна его Кикиморе, Анчутке — и даже феерическому цирку омелы.

Жанна Ильинична не удивилась впечатлительности Фёдора: от природы парень, корневой. Присовокупила к Лядову — Билибина. Уж тот, отменный художник, разрисовал все русские сказки, всех героев и кикимор!

Фёдор разглядывал открытки с иллюстрациями и поражался: как зеркально отражается музыка в искусстве! И эта же зеркальность в стихе, который прочитала Жанна Ильинична.

*Щербатый лес. Каракули-деревья.  
И в стрёкоте запуталась, хихикая, кикимора,  
Беззлобная, кривая и без возраста,  
В юбочке, сотканной из птичьей ласки.  
Плясали грязные, косматые ручьи,  
И в буйстве их носились чьи-то тени.*

Жанна Ильинична привела школьников на выставку корнепластики — народного декоративно-прикладного искусства. Автор застенчиво и на открытие не появился.

Разобиженная учительница на выпускном вечере десятого класса вечерки танцевать с Каратыгиным отказалась.

В глубокой скорби брёл Фёдор майской ночью по лесу. И слышался он ему «Кикиморой» композитора Лядова.

Однако Жанна Ильинична не забыла своего подопечного, завлекла в художественность. Уговорила выступить на концерте с чтецким номером. В книге отзывов о его выставке корнепластики простой люд выразил немало похвал. Новое творческое поприще, сценическое, страшило. Какой он чтец? Что может прочитать, с выражением?.. Это только МХАТу подвластно.

Собрал на совет всех своих «друзей» по выставке. Кикимора первая «высказалась»: застрекотала, захихикала. Анчутка-лешак вдруг заойкал:

— Ой-ой-ой, Федя!

Подивился Фёдор: он ведь почти не шевелил губами. Наверно, в животе недовольство. Бурчалкин иногда возмущается. А то и революцию учинит, бунтарь! И всё же будто Анчутка Федю звал...

Чревовещательную куклу Фёдор нарёк Анчуткой. Так иногда тятя поругивал замарашку сына:

— Как анчутка изгваздался!

Чёрта в деревне звали чомором. Чомориками, анчутками — непутёвых мальчишек, озорников, проказливых, как чертенята.

Обрядил Анчутку Фёдор более пристойно, нежели выглядел давнишний залётный Петруша. Рыжая пакля на голове, круглые щёки в крупных конопушках. Смеющиеся голубые глаза с хлопающими ресницами из стружек.

Рот с подвижной нижней челюстью. В общем, ничего от сучковатого прародителя. К тому же косоворотка в горошек с алым кушаком, шаровары в полоску, штиблеты-скороходы. Баской! Такой молодец заговорит!..

Однако даже ойкнуть не сумел. Девочка по-птичьи может, а этот дурень — ни бе, ни ме, ни кукареку!..

Чтобы разговорить по-человечески Анчутку, Фёдор, закрыв рот «на замок», жестикулируя, попытался выдать хоть один внятный слог. Мычание, хуже, чем у него. В отчаянии ударился в первобытность: издавал дикие, звериные звуки. И вымучил членораздельное междометие: «Ау-у!..» Успех окрылил. Но он понял, что чревовещание так просто не дастся.

Жанна Ильинична благословляла его труды по овладению оригинальным номером. Соседний район выдвинул на смотр художественности гвоздь программы: девочка искусно подражала птичьим голосам! Каратыгин мог затмить имитаторшу. Но сроки поджимали. Наставница подгоняла. Необычайно вдохновила подопечного. Оказалось, что чревовещание — это вентрология: искусство говорить с закрытым ртом. Да так, будто говорит не человек, а кукла! То бишь не чревовещание вовсе, но для пушей загадочности мастер говорения с закрытым ртом вентролог. Фёдор Каратыгин именовался чревовещателем.

Да, он овладел этим чрезвычайно сложным, редким искусством. Усилием воли понуждал себя к изнурительным тренировкам. По наитию предписывал себе упражнения по укреплению гортани, голосовых связок, для гибкости языка. Чувствовал, как меняется речевой аппарат, приспосабливается к иной жизни, увлекательной, становится всё более послушным в произношении звуков. И вот зазвучали гласные а, э, и, о, у. Причастницей такого подвига стала дыхательная гимнастика. Глубоко, до полноты лёгких, вдыхал воздух. Втягивал живот, сжимал диафрагму, сдавливал живот ниже лёгких и медленно, со стоном, выдыхал. Такой стон слышался как бы со стороны. И это было удивительно! Голосовой лад становился всё более чутким. Дыхательные упражнения — изошрённое. Перед зеркалом Фёдор

бесшумно, носом, вдыхал воздух. Не касаясь языком мягкого нёба, сужая горло, приглушённо произносил твёрдые и мягкие согласные: д, х, ж, к, л, р, н, с. Тонко управлял дыханием, бережно расходовал воздух. Ни один мускул на лице не выдавал напряжения. Мучительно долго длилось укрощение строптивых губных: б, п, м. Чуть не сорвал голосовые связки. Першение, ломота в горле, боль в лёгких. Не мог говорить, шептал, сипел, хрипел. Полоскал рот, горло настоем шалфея. После недуга упражнялся лишь по пять минут с долгими перерывами.

Коварные, непроносимые сдались на милость победителя. И он попытался по букварю составить первую речь. Но от напряжения у него получилась одна смехота:

– Мы-а, мы-а-мама. Пы-а, пы-а-папа.

Тимофей пропадал вечерами на огороде с Верным и Васькой и выкрутасов сына не замечал. Но сей закидон с заговариванием услышал. Хохотал, схватившись за бока, к великому удовольствию неразлучной парочки:

– А ну-ка и вы, детки, так-то сыспотиха заговорите!

Хохот, лай, мяуканье, веселье! Развесёлая компания взбудрила чревовещателя: почти готовый номер.

Поделившись с кем-нибудь из алчущих курык на улке самосадам, Тимофей вдобавок делился новостью:

– Мой-то Фёдор, буде, сказывал днесь, что Верный, пёс наш, блин душа, научился до десяти считать. А я и не удивился, буде: мне об этом кот Васька ещё вчера поведал.

Услышав от молчуна такое невероятие, легковыеры в сомнении чесали затылки: от Тимохи клешами слова не вытащишь, а тут...

Гастролируя, Тимофей с Мишей сподобились выступить на ярмарке с чревовещателем. Тот заведовал собачонкой, дёргал за поводок, она открывала рот и просила у зевак:

– Кушать хотим!

Ей накидали полный короб калачей, кренделей, пряников. Но тогда благоденствовал хлебный год. Старик похвалился Тимохе, что у него этот дар говорить с закрытым ртом – от дедов и прадедов. Природа наделила особыми

органами во рту, гожими для чревовещания. И зев, и горло, нёбо, язык так удобно устроены.

Похоже, и Фёдку природа не обошла, наделила этим самым даром. Вон с каким рвением старается! Но об этом старый даже не заикнулся.

Развесёлая компания во главе с тятёй взбудрила начинающего чревовещателя. И он придумал забавную сценку.

Смотр приурочили к Великому Октябрю после праздника урожая. Эмтээсовский рабочий накал поугас... На репетицию оставалось больше времени, и слесарь Каратыгин дорезиссировал сценку с актёром Анчуткой до мхатовского совершенства. Наметил было провести генеральную репетицию без худсовета. Но он внезапно объявился в лице Жанны Ильиничны.

В канун ноября пуржило, и неустрашимая наставница новоиспечённого артиста обаяла его напрочь. Запорошённая, в блёстках снежинок, румяная, в облаках пара – сказочной Снегурочкой осчастливила бедную хижину. Уважила Тимофея: заменила изношенный кисет рукодельно вышитым. Растрогался старый, приобнял, как дочку. А она и другим домашним гостинцы припасла. Верный кинулся глотать свиную бабку, Василий – куриную косточку. Фёдор обомлел от поцелуя в щёку. И с трепетом принялся листать «Мифы Древней Греции».

Всех ошедрила Жанна. После такого дивного явления она стала как бы своей, домашней. И Федя впервые робко назвал её Жанной. И отважился представить свой номер.

– Уважаемые зрители, занимайте, буде, места согласно купленным билетам!

Чинно на лавке в горнице уселись зрители. Тимофей спрятал сигарку в полюбившийся ему новый кисет. Парочка, полакомившись, довольно облизывалась. Оба хорошо устроились: Верный в ногах у Жанны, Василёк – у неё на коленях.

– Виноват, что сероват! – артист скромно огладил себя: серая сатиновая рубаха, серые брюки. Пригладил русые вихры. Послышалось хныканье.

– Прошу не шуметь! – Фёдор прижал ладонь к уху, прислушиваясь.

Посмотрел вверх, заозирался. Устремил всё внимание в зрительный «зал». Приставил ладонь козырьком, всматриваясь. Оглянулся: хныканье слышалось сзади. Заглянул слева за занавеску, меж горницей и кухней. Отдёрнул занавеску с правой стороны. Здесь в углу в горестной позе, закрыв руками лицо, хныкал «мальчик». Фёдор удивлённо всплеснул руками. Пёс открыл рот, высунув язык. Кот подбежал к кукле, которая прежде хоронилась от его дружеских посягательств в недосягаемом шкафу. Успокаивая хныкалку, Васька погладил его.

— Товарищ зритель, прошу вас вернуться на своё место! — попросил артист.

Жанна усадила недовольного кота на колени.

— Малыш, ты чеевич? — спросил Фёдор.

— Я не малыш. Я — Анчутка, — всхлипнул тот, не отрывая рук от плачущего лица.

Ни один мускул не дрогнул на лице артиста.

— Что стряслось, буде?

— Двойку получил.

— Ну-ну!..

— Выпустите уж меня отсель! — прогундел Анчутка. — Жизнь-то проходит!

— Ладно, бери букварь, учи урок!

Фёдор поднял куклу и незаметно засунул в неё пятерню. Взял со стула огромный букварь, уселся, вручил учебник двоечнику. Тот заслонился букварём и начал учиться:

— Пы-а, пы-а — мама.

Вместе с артистом зрители поправили:

— Папа!

Ученик выглянул из-за букваря, удивлённо разинув рот: ведь вроде правильно прочитал. Продолжил чтение:

— Мы-а, мы-а — папа.

Хохот, мяуканье, лай.

— Ой, умора, бляха-муха! — затеребил бороду Тимофей. — Надо «мама», дурень!

— Эх, Анчутка — ты и есть анчутка! — огорчился артист. — Горе-ученик!

— А я чо, я ничо!.. — глуповато разинул рот ученичок.

— Чо, чо... Может, работник из тебя толковый? — Фёдор забрал букварь. — Анчутка, айда молотить!

— Брюхо болит! — буркнул «работник».

— Анчутка, айда кашу есть!

— Где моя большая ложка?!

Фёдор вручил «едоку» огромную расписную ложку-поварёшку. Тот закрылся ею, засопел, громко зачавкал.

— А другие, буде, и учатся хорошо, и трудятся, не то что некоторые, не будем пальцем указывать! — Фёдор встал, держа высоко своего улыбающегося напарника с расписной ложкой.

— Арти-ист, ёкарный бабай! — выдохнул Тимофей и приобнял Жанну. — Ну как, доча?

Раскрасневшаяся от волнения, она протянула Фёдору свою изящную руку:

— Номер состоялся!

— Арти-ист, блин душа! Самоуком достиг! Самородок!.. — приговаривал Тимофей, играя с Васькой и Верным, чухая их, сотворил кучу малу.

Отпраздновали концерт с наливкой, шаньгами, усадив на почётное место ведущего актёра театра Каратыгина — Анчутку.

Запозднились. Дорогую гостью уложили в горнице. Тимофей по-стариковски забрался на печь. Фёдор с неразлучной парочкой улёгся на половик в кухне, накрывшись тулупом.

Будто улей, гудел возбуждённый Дом культуры. Понаехали артисты со всех окрестных сёл и деревень, из глухомани, с медвежьего угла добрался даже горловик из остяков.

Гимном прозвучала на открытии смотра «Широка страна моя родная...» в исполнении хора ветеранов. Труженики полей, фронтовики в летах, а пение молодое, раздольное. Разудало, с коленцами, с посвистом, повизгом пронеслась русская пляска из села Травное. Вихрем, в ярких лентах, промчался молдавский танец из Благодатного, оттопотил гопака.

Жюри, управленцы отдела культуры, по достоинству оценили такую дружбу народов. Её продолжил ханта-остяк с горловым пением. Звероватый, в унтах-торбасах, кухлянке, замер, ровно и глубоко дыша, прислушиваясь к себе, как бы вплывал в жизненный поток родной природы... Завывание ветра. Нарастающий гул тайги. Рокот речного переката. Далёкий волчий вой. Клёкот орла. Плач чайки. Стон болотной выпы. Скрип коростеля. Вор-



кование горлицы. Гуканье, хлопанье совиных крыльев, уханье, хохот. Писк перепёлки. Медвежий рык. Рёв сохатого. Треск поваленного дерева. Топот оленьих копыт. Свист ветра. Затихающий бег стада оленей. Прощальное курлыканье журавлей...

Ханта Ас Хаят — человек-природа. Поющий всеми её голосами. Ханты — обские люди; в просторечии — остяки. Ас Хаят не особо чтит заветы своего древнего шаманского рода. Бубен повесил на гвоздь в поселковой избе-читальне, которой заведовал. Однако наследственный дар горлового пения оберегал. Владел самым сложным видом этого искусства — каргыраа. Другие местные певуны осилили лишь хоомей, доступный и женщинам. Каргыраа для них запрещен, его вибрации губительны для животворных гормонов.

Ас Хаят, попросту Саша, невеличек — «вылудил» сильным языком лужёную глотку, а также нёбо и всё устройство рта, гулкое пространство которого мощно резонировало. Развитая грудь в меру расточала воздух, и певец непостижимо сопрягал низкие ревушие басы с дужиной обертонов, до ультразвукового свиста летучих мышей.

Ас Хаят потряс Каратыгина. Ему ли с тряпичной куклой тягаться с таёжным чародеем? Он чуть было не улепетнул малодушно со смотра. Да Жанна повисла на нём, умоляя проявить мужество.

Шестиклашка, Машенька Щербинина, пичужка, робко вошла в своё певчее птичье царство. Под стрехой её родной избы жила семья ласточек. И девочка каждый день слушала их песни.

— Тви-вит, тви-вит! — звонко пропела она и защebetала.

Иные путают ласточек со стрижами. Но, молниеносно стригушие воздух, в пении не шибко преуспели: визгливые возгласы, дребезжащее ворчание. Натурально, по-стрижинному издала эти звуки Маша.

Старший брат смастерил для скворцов уютный домик. Глава семейства, знатный вестник весны, первым возвещал её. Крик радости, ручейное пение. И пересмешничал весело, передразнивая живность на подворье. Мяу-

кал, лаял, кукарекал, кудахтал, мычал, блял, хрюкал, крякал, гоготал. Передразнивать скворечные дразнилки неинтересно: всякий может. Конечно, скворец — самый искусный подражатель. Он и говор людей способен скопировать! Но и варакушка — пересмешница ещё та! Жулан, совка не уступают ей. Но даже сам пересмешник не сравнится с иволгой. В гулком лесу иволга так красиво на флейте играет! А то такое мяуканье, верещанье рысье закатыт! Ужас!.. Но и подражатели различались своими голосами. Жулан резко чечекал, варакушка чакчакала...

Деревенские зрители-слушатели узнавали птичьи голоса в исполнении славной девчушки и поражались: как она так может?!..

Видя восхищённые лица, Машутка разохотилась и вдохновенно представила художественных свистунов. Мелодия с нежными свистами веснички. Встревоженность пеночки-певички: «Син-син-сирр! — перетекла в нежный, грустный свист: — Тюю-тюю...» Ему вторил звонко-печальный гаички: «Пююй-пююй!..» И тонкий — ремеза. Широкая гамма свистов певчего сверчка — и зрители сорвались на аплодисменты. Узнаваемое нежное: «Свири-свири...» поклонницы рябины — свиристели.

Много в здешних лесах синичек. И их распознали селяне. Лазоревка: «Ци-ци-цирр!..» Московка: «Ти-ти-түй!..» Хохлатая синица: «Ци-ци-тррч!..» Это «тррч» забавно прозвучало. Хохотнули зрители. Звонко распинькалась большая синица, прокартавила: «Чэр-р!..» — и полилась её песня: — «Ци-ци-ци-пи-ин-ча-ин-ча...»

Целый концерт закатила девчушка. «Юристы» уже хотели прервать её выступление. Но она залилась соловьём, защёлкала, рассыпалась трелями, руладами!..

Шквал аплодисментов смял ропот высокого жюри. Раздался глас народа:

— Они в городе, жюри эти, деревенской жизни не знают, природу не видят. Пусть послушают!

Маша могла бы ещё петь и петь песни любых птиц. Да всех сейчас не споёшь. В другой раз обязательно прозвучат и жаворонок, зимородок, теньковка, зарянка, чечётка, шегол, снегирь... Одни их имена звучат как музыка!..

Озёрный край: Гагарье, Лебяжье, Селезнёво, Чирки, Гусиное... Трогательные, душевные песни звучали половину второго отделения: «Гагарье, деревенька моя, нет на свете милее тебя», «Лебяжье, сторонка родная, краше тебя я не знаю», «Ах, Чирки вы мои, Чирки – край привольный Ишим-реки!..»

Издrevле строгали берёзовые ложки на всё Приишимье. Лаки придумали, краски, узоры расписные – не хуже хохломских. «Вкусная» посудинка, звонкая, певучая, музыкальная. Само собой Берёзовка выставила ложкарей. Барабанили слаженно, рассыпали дробы. С повизгом, посвистом ухари лихо накручивали ложками – те будто летали. Балалайка трелью сверкнула, забойчила звончато, поддержала ложкарей, затмила даже. Что ложки без балалайки-песельницы – горох рассыпной!.. И песенка в пору пришлась:

*Наши ложки звонче зари,  
Развесёлые мы ложкарю!..*

Ещё за кулисами рявкнула гармошка, кнопки стремглав промчались. С частушечными переборами вышел гармонист из Ильинки, Егор Парфёнович Ильин. На выцветшей гимнастёрке боевые награды за взятие Будапешта, Варшаву, Прагу... За взятие всей Европы! И за Берлин, и за победу над Японией! Поддерживаемый ведущей, фронтовик сел на стул. Он был слепой. Трёхрядка печально вздохнула:

*Воевал в войну германску,  
На японской был войне,  
И за жёнку, за детишек  
Воевал в бою вдвойне!*

*Не тоскую я, ослепнув  
В распоследнем том бою,  
Ведь со мною мои детки  
И жена, что я люблю!*

Воин, отец, муж! А фуфыры юристки шипением изошли:

– Корявенько, не совсем складно, но вроде как убедительно.

– С такой песней токо по вагонам ходить!

– Где у нас вагоны? Они в Ишиме, на станции...

Точно услышав шипение, гармонист распахнул трёхрядку, обнажив алые меха:

*Эх, мать-перемать,  
Суцая безделица!  
Расстелю частушки вам,  
Как позёмка стелется.*

*Сапоги мои худые  
Пропускают H<sub>2</sub>O.  
Получу я скоро деньги –  
Закуплю я всё сельпо!*

*На столе стоит бутылка,  
А в бутылке керосин.  
Дед на бабу рассердился  
И в кино не пригласил.*

Зашипели фифы:  
– Нет у них в Ильинке никакого кина!  
– Нет, передвижка заезжает, от трактора свет берёт.

*На лужайке у реки  
Утки громко крякали.  
Ваня Маню обнимал,  
Только серьги звякали!*

– Это по-нашему, по-мужски! – одобрил кто-то из влюблённых.

*С неба звёздочка упала  
На прямую линию.  
Ваня Маню перевёл  
На свою фамилию.*

– Нет у них в Ильинке никакой линии! – бубнило судейское начальство в первом ряду.  
– До неё, до Ишима сто километров!

Любовная лирика исполнителя склонилась ко злобе дня:

*Мать игрушку покупала  
Для трёхлетнего мальчика,  
А игрушка та упала –  
И зашибла продавца!*

Начальство насторожилось. Да, был в Ильинском сельмаге такой инцидент, не по возрасту тяжёлые куклы завезли. Поранилась Клава-продавчиха, не убилась же! К тому же куклы для девочек предназначены, а не для мальчиков. Нападки на нашу торговую сеть не имеют под собой никаких оснований и вообще неуместны!

*Эх, мать-перемать,  
Сущая безделица.  
Председатель сельсовета  
Не мычит, не телится!*

Раздались возгласы ильинцев:  
— Э-эк куда загнул!  
— Ну уж это слишком!  
— Вот это рубанул!  
— По-боевому! Давно пора. Ни одного фонаря не поставил председатель.  
— Зато у самого фонарь под глазом. Галька засветила!

*Не гони меня, Галина,  
За гульбу вчерашнюю!  
Я скотина, я скотина —  
Существо домашнее!*

Взрыв хохота. Овация. Слава воину-правдорубу!

Недавно назначенный завклубом деревеньки Кучки решил, чтобы в районе оценили уровень культработы клуба. Интермедии и скетчи на сельскую злобу дня в столицах ещё не были написаны. Попалась в районке «За урожай» заметка о прорехах в работе пекарни. Из неё вырисовывалась сценка «Пуговица». Покупатель пострадал от халатной преступности пекарей. Те замесили тесто вместе с пуговицей от халата нерадивой стряпухи. Злосчастную принадлежность одежды запекли в булке. Зуб едока потерпел крушение...

Поскольку работниками клуба числились заведующий и истопник, ответственную роль в сценке за брак в производстве взвалил на себя завклубом. Водрузил пышный шиньон с начёсом, натянул капроновые чулки, намалевал губы и щёки.

Раздвинулся занавес. На заднике красовалась вывеска «Пекарня». В начальственной позе заведующая восседала за столом. Заслышав шум в зале, начала медленно приподниматься, пытаясь украдкой подтягивать сползающие чулки. Потуги эти видели из-за кулис столпившиеся артисты. Не могли сдержать приступы смеха. И вовсе покатались с хохоту, когда заведующая, колыхаясь в туфлях на высоких каблуках, встала перед столом. И опять же силилась подёрнуть то один чулок, то другой. Дёргаясь так-то, едва устояла на ногах.

Новаторство режиссуры заключалось в единении представления со зрителями. То не пьяненький дебошир бузил в зале. Истопник, изображавший жертву пекарни, полностью вошёл в роль и зывал к справедливости, требуя книгу жалоб и предложений.

Пройдя через весь оживившийся зал, вошёл на сцену. Заведующая, едва стоя на цирлах, хваталась сзади за стол, дёргая чулки. Истопник остолбенел и с треклятой пуговицей-блюдец оскалился, предъявив публике лошадиные зубы.

Пустышная сценка о злосчастной пуговице вопреки воле режиссёра сама собой превратилась в смехотворную несурязицу и распотешила зрителей. Жюри пробурчало:

— Нет у них пекарни! Чё врут? Самим пекчи надо!

«Начхальницы» задробили «Пуговицу», критикана-частушечника, несколько «деревенек, нет милее которых...». Явно двигали в лауреаты ветеранов, ложкарей, сдержанно отзывались об оригинальных жанрах: горловом и птичьем пении.

Районный центр, бывшее купеческое село Казанское, выглядел на смотре весьма солидно. Жанна Ильинична Вагнер построила свой красногалстучный хор с вихрастым солистом.

*Забота у нас простая,  
Забота наша такая:  
Жила бы страна родная —  
И нету других забот!*

Ничуть не хуже Робертино Лоретти начал «Песню о тревожной молодости» юный та-

лант, открытый Вагнер. А хор какой подобрала для припева!

*И снег, и ветер,  
И звёзд ночной полёт.  
Меня моё сердце  
В тревожную даль зовёт!*

Песня Пахмутовой из кинофильма «По ту сторону» сразу захватила сердца и души всех поколений — фронтового и послевоенного, комсомольско-целинного. И весь зал уже подпевал мальчишкам и девчонкам. Горячо скандировал, выкрикивая имя солиста:

— Мо-ло-дцы! Гри-ша! Гри-ша!..  
А хор, прервав восторги, озорно «испёк»:

*А картошка объеденье, енье, енье, енье,  
Пионеров идеал, ал, ал!  
Тот не знает наслажденья, енья, енья, енья,  
Кто картошки не едал, дал, дал!*

Весь зал впал в пионерское детство:

— Дал, дал!

«Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца!..» — вознёс дивный голос Гриши любимую песню. Вот такой орлёнок, шибче самого Робертино, распелся в Казанке! Смущённый, зардевшийся, он и песню его спел — «Ямайку». По-итальянски! Жанна Ильинична надоумила. Она и суть песни перед исполнением в переводе изложила:

*Ямайка, белокурое солнце  
обливает лазурью прекрасные пальмы.  
Ямайка, бархат песка,  
Белокрылые чайки играют с волною.*

Да, простой люд сибирский и вообразить не мог эту волшебную страну, где вечное лето и нет зимы. Как это — без зимы?! Сказка!

Утончённой Жанне Ильиничне Вагнер грезился этот пряный остров в Карибском море. Бархатные пляжи, смуглые тела, лазурь неба и бирюза моря, блистающий лак пальмовых листьев. Красоты, недоступные обычному пониманию.

Сказка!.. Какой-то деревенщина, остряк-самоучка, хихикнул:

— Ну и страна! «Я, — грит, — майка!» Вот умора!

Дружок его, язва, поддержал:

— И на мне — майка! Бляха-муха, целый остров ношу на себе!

Другой мужлан брякнул:

— Хороша страна Ямайка, но Казанка лучше всех!

Когда же казанский Робертино Лоретти спел «Ямайку», все приумолкли. Предел восхищения. И взрыв, буря восторга!

Вроде и не к месту эта песенка на таком представительном, зональном, смотре, но настолько она прозвучала восхитительно, что даже суровое жюри прониклось.

— Не только итальянский, но и наш школьник исполняет об острове, где проживают ямайцы!

— Тоже, так сказать, дружба народов.

— Да его, Робертино, песни по всему миру звучат.

— Моя соседка, Марья Сергеевна, его пластинку купила. Тоже «Аве Мария» называется. Плачет, когда слушает. Хоть по-итальянски, а за душу берёт! Словно сыночек поёт. Бездетная она...

— Надо будет нашего Гришу попросить исполнить «Аве Марию» к Восьмому марта.

Казанка всех перебойчила. В концовке от забористой «Семёновны», жаркой «топотухи-веселухи» весь зал возгорел: притопывал, покрикивал.

*Дроби, дроби, дроби бей!  
Дроби, ноги не жалей!..*

*Переплясочки, притопочки!..*

В запале организаторы не заметили ещё одного конкурсанта. Вагнер такого головоотяпства не потерпела. Заставила включить в списочный состав участников Фёдора Каратыгина с оригинальным номером — чревовещание.

Он уже тихо радовался, затёртый с Анчуткой в углу гримёрной счастливыми казанцами-плясунами... Птичий лес Маши Щербининой певчей разноголосицей звучал в голове. Малявка, а что вытворяла! Невероятная арти-

куляция! Абсолютный музыкальный слух! А с фамилией — ирония: Щербинина... Так что радуйся, Каратыгин, что про тебя забыли. Избежал позора...

Казанцы ушмыгнули: сейчас лауреатами объявят. Собрался Анчутку в фанерный чемоданчик уложить, как тот произнёс:

— Федя.

Вспомнил, как изображал кикимору, стрекотал, хихикал... Анчутка же, сучок, будто сам заойкал, позвал: «Ой-ой, Федя!..» Вот и теперь — похожее. Почудилось, конечно. Такое уже не раз случалось, когда не мог различить, то ли внутри у него проворчало, то ли тятя что-то сказал. Но тот, молчун, удивлённо мотал головой. Вот и сейчас то же. Как будто и впрямь Анчутка произнёс.

А казанцев-то на поклон вызывали. Жанна налетела, потащила за собой. Анчутку поставила в угол за кулисой, Фёдора вытолкала на сцену. Ведущая представила:

— Слесарь зимихинской машинно-тракторной станции Фёдор Каратыгин со своим другом Анчуткой! Его номер относится к редкому жанру — чревовещание!

Прозвучало гордо: сельский гегемон-пролетарий, а МТС — как МХАТ! Но выглядел «гегемон» не по-рабочему. Цивильно, даже броско: белая рубашка, галстук-селёдка, чёрные брюки со стрелкой, лакированные туфли. Для такого приличия тщательно озаботилась худручка.

Вышел без «друга». Тот заойкал где-то. Заозирался артист, прислушиваясь... Обнаружился источник звука...

Непутёвый Анчутка, да ещё говорящий, всколыхнул подуставший смотр. Более всех радовалась такому диковинному, чудачному номеру школьня вместе с учительницей Жанной Ильиничной.

Однако главная фифа из жюри высказалась безрадостно:

— Ваша творческая жилка, товарищ Каратыгин, — она поморщилась, — не совсем кстати, не по возрасту, так сказать. Не для каждой аудитории то есть. Вот для школьников это будет воспитательно.

— Но это сузит ваш талант, — вмешалась её замша. — Расширьте его, дерзайте!

— Спасибо, спасибо!.. — забормотал польщённый «талант».

— Почему вы не открываете рот? — вскинула на него наивное, милое личико вторая замша. — Ведь так неудобно говорить!

— Дэ-эк!.. — опешил чревовещатель и, сомкнув губы, произнёс: — Извините, мне так удобнее!

Едва успел спрятать кумира детворы в чемоданчик, как ватага окружила: покажите да покажите! Он такой баской! Дайте потрогать Анчутку!..

— Дети, я устал о-очень! — донеслось из чемоданчика.

— Ура-а!.. Анчутка, вылезай! — забарабанила по фанерке ребятня.

— О-ох!.. Я уже спать укладываюсь. И вам пора! О-ох!.. — жалобно простонал Анчутка.

— Сжальтесь, ребятки! — прижал к груди чемоданчик Фёдор. — Устал он. Спит уже.

Нехотя отошли ребяташки, поглядывая на заветный домик, где уснул их баской Анчутка. Говорящий!

— А он не задохнётся? — робко спросил Гриша-Робертино.

— Нет, нет!.. — растерялся Каратыгин: да, оплошал, надо дырки просверлить.

Мужичошка с дурным глазом скособочился, подковылял, закаркал:

— Ты, часом, не колдун? Потрафляешь темноте. Тьфу на тебя! Креста на тебе нет! И отчим твой Каратыгин, культя-то отчего окорочена? Непотребством занимался, с медведем колесил. И ты туда же! Дружка себе завёл. Да ты сам анчутка! Подь ты к чомору!..

Каким ветром надуло в Дом культуры, да ещё на смотр, этого блажного?!

Жанна подроспела, зыркнула на юродца враждебно, подхватила Федю под локоток, заворковала...

После неудавшегося переворота многие зачинщики из декабристов были сосланы в Сибирь. В Ишиме, Ялуторовске безбедно жительствоваали Якушкин, Бестужев, Оболенский и иже с ними.

Прапрабабка Жанны Ильиничны прислуживала опальному декабристу из дворян Вагнеров. Так появилась незаконная вагнеровс-

кая ветвь. Ростки её Жанна предпочитала не тербеть, однако втайне гордилась своим дворянско-декабристским происхождением...

Вот и сейчас представила себя дореволюционной гимназисткой, «грациозно стряхивающей снег с каблучка». Какое «грациозно» в этом медвежьем углу?! Любуется Фёдор, и то отрадно.

Жанна смотрелась как куколка! Вязаная белая шапочка с озорным бонбончиком, льняной чубчик из-под неё. Глянцевый румянец, ямочки, лукавая улыбочка. Короткий кожанок, фетровые намелованные валенки. Баская! Неотразимые коленки! Загляденье! Не учительский вид.

Уважила Жанночка! Торт испекла, «Наполеон»! Невиданное в здешних местах печево, но тоже с сочными, портвейн, аж 72-й номер выставила. Всё чин-чинарём в честь успешного праздника худсамодеятельности. Анчутке почести воздали. С геройским видом восседал он за браным столом. Заслужил!

— «Хочешь больше жить — больше смейся!» — говорили древние, — изрекла Жанна. — Ты, Федя, — необыкновенный творец смеха. Не клоун, не пародист, не шут, не комик. Ты — вентролог, чревоушатель! Ты — уникам!

«Уникам» поперхнулся: и слово не совсем понятное, и горло побаливало после долгого говорения с закрытым ртом. Почти непроносимые м и н. Треклятая п! С каким трудом давались они на репетиции. И вроде одолел их, непосильных, и всё прошло как по маслу, но навредили малость.

— За твой неповторимый талант, Федя! На брудершафт!

Воинственно прозвучало, как «на абордаж!» Брудершафтнуться из-за неуклюжести «таланта» не получилось. Чокнулись по-простому. И Анчутка пригубил винца. Залыбился ехидно, заподмигивал многозначительно... Ничего не сказал, лишь просипел, болело горло.

И вновь хрустальный звон извлёкся. Жаркое вино!..

Соглядатая отправили почивать в его гостиницу со свежими дырками, дабы не задохнулся...

От чувств, переполнявших его, Фёдор лишь шептал:

— Милая, милая!.. — и вдруг после нескончаемой череды этого нежного слова вырвалось яркое, солнечное, счастливое: — Баская!

Жанна со смехом потрепала его чуб:

— Баской ты мой! Я, сивилла Жанна, предрекаю тебе оглушительный успех на грядущих гастролях! Только с твоим говорком потребуются переводчица. Хотя и сама не совсем понимаю многие слова: сыспотиха, чомор, гребтит.

Лаская волны душистых льняных волос на плече Жанны, Фёдор подумал: при чём здесь слова?.. И прильнул к её груди. Она погладила его руку и удивилась длинному ногтю на указательном пальце:

— А это что за маникюр?

— Мастеровой, помогает при слесарке.

Она хмыкнула: — Завязывай с ней. Псевдоним тебе надо, Федя! — мечтательно вздохнула: — Артистический, привлекательный! Вот у меня фамилия звучная, музыкальная! Композитор такой — Вагнер. У меня его пластинка есть «Кольцо Нибелунгов». Послушай — и проникнешься. Ведь ты такой чуткий к музыке, Федичка! А Каратыгин... Помнишь, как Тамара Дмитриевна поморщилась? Неприглядная фамилия, ущербная, сожаление вызывает, сочувствие. Жанна Ильинична Каратыгина! Ха-ха-ха!..

— Жанна, Жанночка, милая, что с тобой?!.. — он стал целовать её лицо, словно врачую её от безумия.

Она отстранила его, приподнялась на локте. Ослепительная, обнажённая, с распущенными волосами, осыпала его русалочьим смехом:

— Баской ты мой, дурачок. И имя подправим. Только вслушайся, Феодор!.. Нет, Теодор Вагнер! Ну как?!..

Он быстро оделся в своё концертное, «селёдку» засунул в карман брюк. Налил полбокала вина, залпом выпил, прочистил горло:

— «Кольцо...» Вагнера! Э-эх ма-а!.. Без меня меня женила! — надрывным ухарством отдробил чечётку и частушку:

*С неба звёздочка упала  
На головку милую.  
Жанка Фёдку записала  
На свою фамилию!*

Он ушёл, забрав Анчутку, оставив в недоумении раскрасавицу русалку...

Парочка радостно встретила его у порога. У одного хвост трубой; у другого, горластого, — кренделем. Будто знали про все его победы. Тимофей, понурясь, неловко свёртывал козью ножку: отдалялся сын, отдалялся... Фёдор свернул сигарку, набил табаком из подарочного кисета. Тимофей запыхтел со вздохами, клубя дым к потолку.

— Ну как, буде, смотр прошёл? — провёл культурей по окладистой бороде в искрах седины.

— Не очень, чтоб очень, — развёл руками Фёдор.

Довольную ухмылку Тимофей спрятал в бороду: может, поостынет сын к своей омутной забаве, затягивающей невесть куда. Рабочий, можно сказать, парень — и сомнительные завлекушки... Фёдор про мужичошку с дурным глазом поведал.

— Черноризец то, буде, расстрига, бесный, — перекрестился Тимофей. — Сам не свой. Сомуститель!..

Зашаяли чёрные уголья в душе Фёдора. Безобидная сценка, воспитательная даже. Вон как кромсал себя, лёгкие свои, горло. Всё речевое устройство в схватке с непреодолимой п! С надсадой выдавливал лишь кряхтенье да жалкие «каки». Потуга за потугой — и детворе полюбился баской Анчутка! Говорящий!.. Непотребство?.. Вот каркун! Отца — отчимом называл. Да тятя роднее родного! Родная душа — стало быть, и кровь родная. И он, Фёдор, никакой не безродный. Хоть и смирен нравом, но честь имеет и защитит её от любых нападков. В доброй Зимихе никто и не заикался, что тятя — отчим. А этот дряхлец чоморик вылутился! Да пошёл он к своему чомору!..

И всё-таки моруку напустил, вражина. Неужто и впрямь тятиня фамилия настигнет Фёдора, окорот учинит? Эх-эх, Вагнер, Вагнер!..

Русские деревни на сотни вёрст — родня. Вот встретились на большаке зимихинская и

бердюгинская подводой. А от Зимихи до Бердюгина конный путь — от восхода до заката. Путаясь в тулупах, вылезли мужики из саней, крепко поручковались:

— Зимихин, Матвей!

— Егор Бердюгин!

— Матвей, буде?!.. Матюха! Как же, припоминаю... Вот где встренуться довелось!..

С радостью перебирались кумовья, деверья, золовки, крёстные, крестнички... И находились-таки родственные корешки, хоть и тридевятые, хоть и побочные.

— Вот блин-душа, Матюха, не твоя ль бабка Палага — золовка падчерицы деда Ерёмы?

— Ды-ык... Сродственники, буде, мы?.. А Бердюгин Изот не приходится ли деверем моей троюродной бабке Секлетинье?

— Бабе Сете?.. А как же, Изотка-то... Ну да, приходится.

Хлопали мужики друг дружку; радостно восклицали, узнавая близкие имена; обнимались, точно братьевья.

— Может, заглянешь, Егорша, сыспотиха в гости? Моя Аганя, помнишь её, дуже завлекую бражку ставит!

— Загляну, кум, вдругоредь обязательно загляну! Такая родня!..

Корневое родство с русским языковым древом, наитие помогают распознавать человеку, чуткому к русскому слову, непонятные, казалось бы, слова. Только услышит, например, сибирское словцо «вдругоредь», а оно уже будто знакомо. Чудное словечко «сыспотиха» — а ведомо. Блюли зимихинцы старину, святцы. Акакии, Фалалеи... Э-эх, Жанна Вагнер, переводчица!.. Будто сговорились с дурноглазым. Каратыгин не по ней. И Жанка туда же, будто сговорились. Может, и Анчутке имя поменять? На Антошку. Нет, лучше: Теодор Вагнер!.. Расхотелся Фёдор:

— Вот такая мерехлюндия, Фёдор Тимофеевич Каратыгин!

Домашние, чуткая троица во главе с дедом, с удивлением воззрились на четвёртого. Доселе Фёдор называл Тимофея по-тёплому — тятей. Сейчас же посуровел:

— Отец, как ты знаешь, мне нравится Жанна. Но я не знаю, что мне делать: жениться или нет?

Задумчиво сохмурился старый Тимофей, из-под кустистых бровей испытующе посмотрел на сына:

– Не женись!

– Но почему?

– Ежели ты твёрдо хотел этого, не спрашивал бы.

Спросил для очистки совести. Сам вспыхнул. Что же случилось? Кто виноват? Э-эх, Жанка! Не предал же поэт Херасков свой род, не сменил неблагозвучную фамилию на красивый, поэтический псевдоним. И Жанкин любимый оперный певец Пищаев остался верен отцу и дедам. И дрессировщик Дуров, знаменитый адвокат Плевако. А Крысин – председатель колхоза? А уж как в школе дразнили Златку Могильникову! А она молчала как могила... Ну не нравится «Каратыгин» – оставайся на своей «Вагнер». Хотя в деревне так не принято, зазорно! Шаткая семья – о двух головах. Порушен уклад предков – порушится и ячейка, как ныне выражаются. Испокон веков глава в доме – мужик, добытчик, кормилец. Эмансипацию в милую Жаннину головку столчными ветрами надуло.

В зимихинской школе на октябрьском утреннике Анчутка выступил. В казанскую позвали, директриса пригласила, не Жанна. Здесь и увиделись после месячной разлуки Каратыгин и Вагнер. Повинился он, простила великодушно. На супружеском почти ложе слушали пикантную арию Надира из оперы Бизе «Искатели жемчуга»: «И она, сняв покрывало, вдруг предстала предо мной!..»

– Геннадий... Пищаев... – многозначительно протянул Фёдор и продолжил: – Херасков, поэт; Дуров, дрессировщик; Плевако, адвокат; наш председатель – Крысин.

– Домостроевщина! – рассмеялась Жанна. – Постараюсь убедить старорежимный загс оставить мне мою фамилию. Не возражаешь, баской ты мой!

Он не возражал. Подали заявление. По закону полагались три месяца выдержки.

Новый год справляли у Каратыгиных. В присутствии воодушевлённой хвостатой парочки Тимофей крутил на мясорубке говяжий фарш, подкидывая в раструб почиканный лук

и кусочки свинины. Порой мяско перепадало алчущим дружкам, они сытёхонько облизывались и снова вострили мордочки к деду. Фёдор сучил колбаски из теста и разрезал на «подушечки». Жанна большим пальчиком давила на них и скалкой раскатывала «подушечки» до сочной-кругляшей. В голубом фартуке с оборками, в горошковой косынке, румяная – Фёдор украдкой любовался ею, такой милой, родной: Жанна, жена!..

Предпраздничность праздничнее праздника. Торжество лепкипельменей! В один из них старый Тимофей по деревенскому обычаю запрятал «счастливую» монетку.

Чугунок на столе, исходящий пельменным духом. Царь-самовар, блистающий золотом. Наливка-настойка в толстостёклом штофе. Соленья-варенья... Анчутка-поварёнок в белом колпаке. Вислоухий в красном – Дед Мороз. На усатом-полосатом – девчоночья шапочка: Снегурочка. С наступающим!

Паужна<sup>5</sup>: разомлели все. Лоснящиеся обжоры развалились у ног закемарившего Анчутки: в кучу свалились с буйных головушек их нарядные головные уборы. Ключнул носом дед Тимофей, полез было по-стариковски на печку. Молодые дверь расхабарили, запустив ягнёнку из пара, – и айда все вокруг ёлки хоро-водить! Зелёная красавица в палисаднике! Ни к чему ей украшения и мишура! Своей красы довольно! Припорошенная, посверкивала в снежных блёстках под золотой луной. Словно под венчальной...

Похрустывает, повизгивая, снежок, Тимофей топчется медвежато в пимах. Утонула в пимах и Жанна; напевая Штрауса, норовит закружить в ритме вальса жениха, пусть обучается увалень: раз, два, три!.. Радужные облачки пара над ними – словно венцы. Развесёлая парочка резвится под звонкий лай, путается в ногах. Анчутка одиноко скуксился под ёлкой.

– Федя! – жалобно позвал.

Это Фёдор сжалился, заставил его говорить: – Федя, я тоже вальс хочу!

Тот подхватил «танцора» на руки, закружился с ним.

– Ура! Ура-а!.. – наделил голосами живность хозяин. – Новый год настаёт!..



– В лесу родилась ёлочка, – начал песенку Анчутка, держась за еловую лапу.

И осёкся. Ойкнула Жанна. И осела, охая, на снегу. Пёс и кот заплели ей ноги – она и упала. Озорники затеяли с ней кучу малу. Отмахиваясь от них, она почему-то накинулась на Фёдора, который помог ей подняться:

– Какой ты неуклюжий! Как медведь! Из-за тебя ногу подвернула.

Фёдор недоуменно развёл руками. Удивился и Тимофей:

– В таких-то пимах... подвернула?..

Будильник затрезвонил. Все бросились в дом. Чуть Анчутку не забыли. Его подхватила Жанна, поддерживаемая Фёдором.

Из радиотарелки донёсся торжественный, волнующий бой курантов. С Новым годом!.. Раздался звон бокалов. Взрослые почмокались. Досталось почестей и Анчутке. На зависть псу и коту кукла равноправно сидела среди человек с рюмкой вина. Завистники чуть не свалили чучело на пол. Да пельмени заглушили их зависть.

Отменный аппетит нагуляли хороводники. Уплетали пельмешки, аж за ушами пищало! Ойкнула вдруг Жанна. Схватила за щеку. Вынула изо рта «счастливую» монету и осколок зуба. Ненавидяще сверкнула очами, опалив растерянных Каратыгиных. Швырнула «добычу» в чугунок. Распинала «любимцев», схватила одежду и, не одеваясь, выбежала из избы. Ошеломлённый Фёдор запоздало бросился за ней.

– Уходи! – закричала она. – Уходи!..

Как побитый пёс, он плёлся за ней до самой Казанки. К себе она не пустила.

Дома налил себе и отцу по стакану первача. Молча чокнулись. Крякнул Тимофей, отёр бороду цельной рукой:

– Здравствуй, жопа, Новый год!

В переводе с каратыгинского это звучало вполне обнадеживающе: всё, что ни есть, всё к лучшему!

После смотра худсамодеятельности клубы в районе встрепенулись. И зимихинский радовал сельчан не только кинопередвижками, но и концертами. Своим творчеством местных баловал и соседние деревни. Те в отдарок своих

«мастеров искусств» Зимихе жаловали. Фёдор с Анчуткой выступали и дома, и в гостях. Оберегая лёгкие и всё речевое устройство, чревовещатель радовал зрителей лишь пятиминутками. Обычно они блистали в самом конце. Коронный номер, гвоздь программы! Горе-ученика сменил Анчутка-частушечник. Ухарство их заглушало тоску несбывшейся любви, которая была так близко. Лево́й рукой держал губную гармошку и пиликал, на правой восседал Анчутка и после проигрыша частил нижней челюстью и сыпал частушками. В них зимихинцы узнавали себя и соседей. Неизменный извинительный зачин самых обидчивых настораживал: кого на этот раз продёрнет кукла?

Фёдор извлекал из гармошки мотивчик куплетистов Мирова и Новицкого. Анчутка лыбился и по-свойски подмигивал:

*Добрый вечер! Я Анчутка!*

*Прочастушу я для вас.*

*Не обидьтесь, если что,*

*За приглядчивый мой глаз.*

И обижались, и грозились... Премного хулы обрушалось на буйную, забубённую головушку участницы «солёных» частушек – Сентетюрихи. Она шибче всех хлопала каждому куплету. Вскакивала, оглядывая зрителей, покрикивала:

– Вот т-так!..

Многие из частушек скумекала она сама в помощь Фёдору. Он даже как-то после смотра худсамодеятельности хотел свести с нею Жанну для сбора фольклора. А собирать было что!.. Да ту покорила её вдовья правда.

Геройская фронтовичка Груня Зимиха после войны пристрастилась к бражке. А где браженция, там и «Сентетюриха» – нескончаемое собрание сочинений частушек. Не горемычила, склоняла к гулеванию неустойчивых селян и вытворяла «трагедь-комедь». Зачин её застольный прошибал до слёз:

*Лягу грудью на ограду,*

*Позову свою отраду,*

*Хладный камень отвалю,*

*Встать на ноженьки велю!*

Вдовья русская душа... Скорби — и светлая Пасха!.. Память об убиенных. Крепь сибирская насмерть встала под Москвой. Двадцать четыре зимихинца сложили головы на полях войны. Вечное время гостит на зимихинском соборном погосте в скверике у сельсовета.

Бабыя доля... Одинокая тоска по мужнинуму теплу:

*Я купила колбасу  
И в карман положила.  
А она, такая \*\*\*\*\*,  
Меня растревожила!*

Эта грубая обнажённость чувств покорила утончённые фибры души Жаннеты, как называл её Фёдор, перезревшую в капризах Вагнер.

И незабвенную, во веки веков, свою зимихинскую камаринскую «Сентетюриху» — извергала её родительница Сентетюриха:

*Сентетюриха, тетюриха, тетю,  
Я рисковые частушки пропою,  
А балалаечка моя, трень-брень,  
Да порасскажет чудеса по кажин день,*

*Приспустил портки камаринский мужик,  
Мухомора съел, вот пузо и тужит.  
Он бежит, бежит, попёрдывает,  
В речку мыться улепётывает!*

Тихонравные старушки лишь руками всплёскивали:

— Страмота! Сомустительница!..

Гаврила-грибоед опять налопался грибов. Особо почитал сыроедные. Зараз мог слопать дюжину гороховок напрямиком с поляны. Мухомор Сентетюриха вменила ему для красного словца.

Не одну балалайку раздербанила лихая частушечница. На клубную сцену пускать её остерегались: такое может отморозить, что уши от стыда листопадом слетят. Зато куплеты Сентетюрихи в исполнении Анчутки зимихинцы угадывали сразу.

*Ой, как косточки хрустели,  
Когда милый обнимал!  
До сих пор следы в постели,  
Хоть бы валенки снимал!*

Броня-тракторист ходит к Нинке-фелшерке. Увалень неотёсанный, а она — тростиночка. Не пара они!.. Каратыгин же складывал помягче, дабы не разобиделся кто шибко.

*Сидит Митрич у ворот,  
Широко разинув рот,  
А народ не разберёт,  
Где ворота, а где рот.*

День-деньской кемарил древний дед Митрич Шубин на завалинке. Похрапывал, лоя беззубым ртом мух. Притащился как-то в клуб и застал куклу с частушкой про Митрича, про него! А уж Анчутка-то комедничал! Зевал, раззявив рот. Низко склонив голову, храпел — со свистом, с руладами!..

— У Федыки-то роток на замок! — тыкал крючковатым пальцем дедок на сцену. — Стал быть, он кукла, Анчутка в сам деле — говораш-ший! Живой!.. Ой-ёченьки! Ой, не могу!..

По-бабы, в слезах, ухохатывался Митрич. Весь «зал» заразил до сумасшествия. Чуть не надорвался, смешливый. А то уж Нинка-фелшерка кинулась отваживать.

Гнедко торопко топотил по пустынному просёлку, высекая порой из наката хлёсткие льдинки. Канун марта. Днём солнышко грызло, посасывало снежок. Вечеру в полях схватывался ноздреватый, чёрствый ледок. По дороге, облизанной, отутюженной многими полозями, сани елозили, кренились к кювету.

Тёплый дух родной конюшни Гнедко чуял за несколько вёрст. Одно смушало его: Фёдор разговаривал с куклой, заключённой в футляре, как с человеком. Утопая в соломенной перине, Фёдор делился с Анчуткой о выступлении в ильинской больнице, там врачевал болезных со своей трёхрядкой бравый частушечник Егор Парфёныч. Он и позвал Каратыгина в соучастники.

Любимец публики Парфёныч Ильин, как

## 22 Владимир Вещунов

всегда, прочастушил на славу: едко и озорно! В концовке под аплодисменты и болящих, и врачей представил гостя:

*Эх, раз, ещё раз,  
Я бы спел ещё сто раз!  
Да мой друг, чрево вещатель,  
Выступит сейчас для вас!*

За дверью столовой, где расселись за столиками зрители, раздался громкий скрип. В хромовых, начищенных до блеска, скрипучих сапогах вошёл Фёдор. Сероватый, виноватый, снял звучную обувь. Надел больничные тапки. Пара сапог застыла по стойке «мирно» — со страшным скрипом! Столовка в изумлении замерла, во все глаза глядя на невозмутимого артиста. Губы его были сомкнуты, а сапоги скрипели! Он погрозил им пальцем, они замолчали.

Главврач, сидевший наблюдателем за задним столиком, сорвался с места. Натянув резиновые перчатки, брезгливо дотронулся до сапога, сгармошил — ни звука! Надел сапоги, переминаясь с ноги на ногу, потоптался. Ни звука! Больные хохотнули, подумали, что главный тоже комедьничает!

— Ничего не понимаю! — со злостью скинул сапоги главврач. — Это антинаучно! Это, это-о!.. Эт-то нельзя так!.. Противоестественно, мистика, чертовщина!..

Рявкнула гармошка Парфёныча:

*Сочинил я нескладушки,  
Растаковский винегрет!  
Фёдор, фокусник, дружище,  
Ты раскрой нам свой секрет!*

С лёту, разрядки ради, бросился на выручку мастер экспромта.

— Какая тебе разница, Парфёныч? — услышался из раздаточной грубоватый голос. — Лишь бы ты частушил хорошо!

Все повернулись на голос. Фёдор достал из-под прилавка куклу:

— А-а, это ты, Анчутка!

— Два сапога одного поля! — вскинул руку в их сторону Парфёныч.

— Ха-ха-ха! Два сапога — пара! — поправил его калечный, щёлкнув костылями.

— Одного поля ягоды! — добавила голенастая медсестричка.

— Вот видите, Сергей Сергеевич! Фокусы это! — сыгранул туш Парфёныч. — Тайна иллюзии. Личный секрет Фёдора Тимофеича!

— Ну-у да-а!.. — протянул обескураженный главврач. — Разглашению не подлежит! Принимаю.

— Вот вы, болезные, проверяете сердца людей, — бархатным голосом заговорил Каратыгин, усаживая Анчутку за столик перед раздаточной. — Хороший номер сладок для души и целебен для костей! — он указал на калечного с костылями. — Смех... Хочешь дольше жить — больше смейся! Смех — это лекарство, витамины, нектары, бальзамы. Это — эликсир молодости! Одна минута смеха заменяет стакан сметаны. Говорят, смех без причины — признак дурачины. Но у нас не так...

Приговаривая, Фёдор оборудовал торговую точку. Продавец важно восседал за столом. Перед ним воздвиглась пирамида туесков с огромным ценником: «1 шт. мёда — 3 руб., 3 шт. — 10 руб.». Подошёл покупатель с кошёлкой:

— Чеевич будете?

— Зимихинский я, Анчутка!

Над ценником виднелись рыжая пакля волос, озорные глаза и конопатый нос.

— Медком торгуете?

— Гречишный, со своей пасеки. Вкусный! Пальчики оближешь! Недорого!

— Сколько?

— Вот слепошарый! Цена вон на плакате, крупно написано!

Покупатель надел очки, медленно прочитал:

— Одна штука мёда — три рубля. Три штуки — десять рублей. Хм-м!.. — поскрёб затылок, хитро подмигнул зрителям: — Беру туесок, и ещё один, и ещё! Вот вам девять рублей! Ха, смотрите, я купил три туеска мёда, заплатил всего девять рублей. Да-а, не умеешь ты торговать!

Фёдор великодушно подхватил Анчутку на руки, посадил на пятерню. Тот развёл руками, расплылся в улыбке:

— Вот так всегда! Берут по три туеска вместо одного, а потом учат меня коммерции!

Одобрительно захохотал «зал». Благодарно раскланялись артисты. Главврач рассыпался в любезностях:

— Спасибо за номер, товарищ Каратыгин! Поучительно и смешно. Да, смех — это, это!.. От лица всей больницы. Извините за неувязочку! Оригинально, оригинально!..

— Вот такая неувязочка вышла, друг мой фокусник Анчутка!

Гнедко при упоминании этого имени всегда косился, фыркал и замедлял бег. Не нравилась коню эта кукла. И внезапно он встал как вкопанный. Прижав уши, в лёд будто вмёрз заяц.

— Заколел бедолага! — Фёдор снял рукавицы и оглушительно хлопнул в ладоши.

Лопухий дал стрекача и скрылся в овраге.

— Живчик! — удовлетворённо произнёс Фёдор и погладил вожжами спину коня:

— Шибче тебя бегают, а, Гнедко?

Не с куклой заговорил, а с конём, дабы не нервировать его:

— Вот видишь, дружище, заяц на дороге! Что он тут потерял? Ждал кого? К чему бы это? Сказывают старые люди, к беде. Якобы самому Пушкину заяц явился на дороге перед смертной дуэлью... Один раз я двойку по русскому схлопотал. Жанна влепила! Десятки зайцев на тропе колготились. Я в вечерку мимо питомника хаживал, так они, бесшабашные, чуть с ног не сбивают. Сигают туда-сюда, туда-сюда! Всё кругом в их горохе, яблоньки обгладывают. Вот беда! Да, суеверия!.. Это... Вот икнулось мне — тятя вспомнил. Дак он меня завсегда вспоминает, и я его. И что, мне икать всё время? Напридумывают всякую несусветчину! Кирпич из загну́тка выпал — быть беде. Кошка чёрная, баба с пустым ведром — тоже. Соль просыпалась, ладошка чешется и нос — к ссоре, к драке — хорошего мало. Хотя нет, паук-письмоносец весточку шлёт. Кошурка гостей намывает. А у вас, коней, братко Гнедко, тоже свои суеверия имеются. Заплетёт ласка хвост и гриву в косички — к измору, с тела спадёт коняга... А ты справный, Гнедко, вон какой сутунок! Никакая ласка не уморит!..

Слушал, прядая ушами, Фёдора Гнедко и вдруг заржал тревожно, остановился. На обо-

чине накренилась к кювету шикарная марка авто — жёлтая «Победа». Невиданная залётная птица в бедных здешних краях. Какая-то начальственная шишка, в мерлушковой шапке, в пальто с мерлушковым воротником и бурках, нахохлилась подле «Победы».

Фёдор вылез из саней, подошёл к незнакомцу, похлопал его, окованного, по плечу:

— Здрасьте! Не фурычит?

— О-о-оказия!.. — замороженно выдавил мужчина.

— Несите заводилку! — бросил Каратыгин и пояснил: — Рукоятку!

«Каракуль» с трудом открыл багажник, долго рылся в нём, откопал рукоятку. Фёдор скинул полушубок и яростно стал накручивать ею. Взмок. Пар клубами валил с него. Рядом топтался «каракуль», раздражая. Гнедко подбадривающе заржал. Стиснув зубы, Фёдор так крутанул рукоятку, что чуть не вывихнул плечо. Мотор завёлся!

— Есть кто в машине? — спросил Каратыгин.

— Дама!

— Ладно, пусть сидит. Садитесь, жмите на стартёр! Я сзади подтолкну!..

«Победа» буксанула и рванулась, ударив Каратыгина чадным выхлопом.

— А так бы и куковали столичные штучки! — отдышавшись, залез в сани Фёдор. — Пустынная дорога. Морозная ночь. Две сосульки. Да заяц-побегаец чуть не наворожил...

Речевой ансамбль чрево вещателя Каратыгина сладился. Он мог выдерживать представления поболее пяти минут. Пообтёрханный Анчутка подновил свой гардероб. На рыжей шевелюре красовался картуз с высокой тульей. Вместо штиблет посверкивали хромовые сапожки. Симпатичная мордашка в конопушках озорно лыбилась, умиляя зимихинцев. Они, как дети, ждали каждое его появление в конце участвовавших концертов. Свой, земля! Такие, говорящие, не водятся поди ни в каких америках! А как он говорит? А шут его знает! Искусник Фёдор говорит нутром, неразгаданный фокусник ли, а может, чертовщинка замешана?.. Что бы ни было, а потешный этот фрукт Анчутка! Он и впрямь выглядел подчас

самостоятельным, как бы сам по себе, будто без Каратыгина может...

На столе горела, потрескивая, керосинка. Низко склонившись, проговаривая по слогам слова, «сочинял» письмо Анчутка. Зимихинский эпистолярный жанр кои веки чтит свою неповторимую манеру, посильную и для первышей. Посему «сочинение» давалось Анчутке легко:

– «Здравствуйте, наши родные...»

Фёдор, с почтальонской сумкой на ремне, подмигнул зрителям:

– После «здравствуйте» – запятая! – подсказал он.

– Не мешай! Без тебя знаю! – баском сдержил грамотей.

Полюбившийся сельчанам номер Фёдор всякий раз обновлял «родичами». Он просто перечислял сидящих на первом ряду. И «передовики» радовались такому «родству».

– «...Дедушка Финадей, дядя Леонтий, дядя Петро, тётя Дора, братик Ваня, сестрички Броня и Лида!»

Фёдор подкрутил фитиль лампы, поправил картуз на затылке писаки: вот-вот свалится.

– Ёкарный бабай! – по-зимихински руганулся Анчутка. – Не мешай! «Во первых строках моего письма спешу сообщить, что у нас всё хорошо, все живы-здоровы, чего и вам желаем! Я учусь тоже хорошо...»

– Хотя приношу и двоечки! – съязвил «почтальон».

– Да будь ты прова<sup>б</sup> совсем! – опять же по-зимихински обрушился на правдоруба Анчутка. – Убирайся отсель!

Фёдор, подхватив почтарскую сумку, пробрался на последнее место. И вот диво! Анчутка как ни в чём не бывало продолжал писать вслух:

– «И ещё интересно! Петух Ренёвых не любил пьяниц и дрался. Напал даже на своего дядьку Михея. Дядька отрубил ему голову. А петух сбежал. Его нигде не нашли. Может, новая голова выросла или старую приставил. Вот такие у нас чудеса!»

Жду ответа, как соловей лета! Анчутка».

Фёдор подошёл к нему, взял его на руки. Показал «конверт» – сложенный треугольником тетрадный листок. Такими приходили фрон-

товые письма, такие бытовали при переписке у сельчан.

– Лети с приветом, вернись с ответом! – прочитал своим голосом Фёдор и сомкнул губы.

– А ещё написано: «Шире шаг, почтальон!» – добавил Анчутка.

Фёдор бросил письмо в сумку и, улыбаясь, приказал себе:

– Шире шаг, почтальон!

И зрители заскандировали привычный для их писем призыв и любимое имечко необыкновенного артиста – Анчутка!

А уж на улке вразнобой делились: кого упомянул Анчутка, кого не назвал. И прав он: жив Петя ренёвский, жив! А в прошлом разе воровашку Криворучку вывел на чистую воду. Приворовывал тот по полешку у соседей – и соорудил у себя поленницу! Разоблачил его Анчутка – и Криворучка у себя стал тырить. Занычит в поленнице коробок спичек – а ночью крадёт за ними... Груню, фронтовичку, возвеличил Анчутка. Та телят пасла. А Броньку Шубиных Чёртов омут затянул. Вытащила жихарку Сентетюриха, откачала. Фронтовичка!..

Правдиво представили утопление Броньки Фёдор с Анчуткой. Черти в омуте верёвки вили со свистом, мерзко хихикали. Вода плескалась. Задыхательство Бронькино, погибельное, вопли его жалобные... Мычание теляток. Известная ругань зимихинская с голосом Сентетюрихи:

– Будь ты прова совсем!

Так она нечисть шуганула и Броньку спасла. А Анчутка, возвышаясь на руке Фёдора, назидательно возгласил:

– Не зная броду, не суйся в воду!

И впрямь, лиха от Чёртова омута беспечные зимихинцы натерпелись изрядно. Что ни лето, то утопленник!..

Какая деревня даже той эмтээсовской поры обходилась без чудес? Тихая Зимиха сладко замирала от милых её сердцу «ужастей». У Герасихи ночесь дедушко-суседушко плакал – ко хвори домашних печалится. В Сидорово стойло ласка повадилась, Игреньке гриву и хвост меленько в косичку плетёт – тот, лоснистый, от щекотки совсем с тела спал... И

Чёртов омут заманный... Никто ещё в духоту не устоял перед ним. На зеркальной черни его, словно ночные звёздочки, светятся балаболки. Некий острец так назвал нежные кувшинки якобы за их ночные разговоры... Солнце жарит нещадно, а от водицы той веет свежей прохладой. Не устоять! Сказки и страхи... Однако напоминал Чёртов омут: много на земле тайн — помните о них!..

Невероятное сплелось в картинках с обыденным. И это притупляло остроту страхов. Даже жуть несусветная в ночь колядок в изображении Фёдора выглядела безобидной.

В ту ночь ряженая ребятня в тулупчиках наизнанку, с бородами из пакли, дружно славила. От доброй избы к щедрой. У каждого матерчатый мешочек — кто больше наславит! Пирожки, кральки, пряники, ватрушки, шанежки суют ребятишкам радушные хозяева.

Катится по большаку весёлая гурьба славильщиков.

Катится по большаку навстречу радостной детворе тележное колесо, повизгивает снег под ним. Откуда выкатилось, с какого двора? Какой неугомон хлопочет о лете в такую ночь? Но глухи заплоты!..

Визжит снег под колесом... Не снег — само колесо! И не колесо вовсе! Свинья-а-а!..

С верещаньем разлетелось с большака до смерти перепуганное воробьё.

Чавканье, сопенье, хрюканье, хохоток... Во нища серная, адова! Рыло щетинится. Полна пасть клыков. Пятак — точно луна кровавая... Оградили мешочки славильные с гостинчиками, с молитовкой от кровожадности бесовской. Не одолела души детские, чистые нечисть! А чертовка-то — тьфу! Сморчишка поганая — Каркашиха-ведьмачка. Она и прежде честной народ страшила — оборотенничала. А тут вызверилась. На деток малых!..

Видели ребятки из-за сугробчиков, как споткнулась свинья, ударилась о большак, колесом обернулась. Рассыпалось колесо то, обод долго и пьяно восьмерил. Укатился во тьму... А ступица и спицы огнём чёрным взнялись...

Было то или не было — всё равно было!

На куче берёзовых поленьев восседал Анчутка. Вдруг из-за кулис выкатилось тележное ко-

лесо. Оно страшно ухнуло, как обычно пугают из-за угла ребятишки друг дружку. Анчутка продолжал невозмутимо сидеть. Колесо загромыхало к нему, захрюкало, как резаная свинья. В «зале» ужаснулись, заохали, заойкали. Поленья тоже перепугались, запищали.

— Цыть, трусишки! — прикрикнул Анчутка.

Колесо накренилось и с грохотом упало на пол. Из-за кулис вышел Фёдор. Поднял колесо, повертел им перед зрителями:

— Что, струхнули? У страха глаза велики. И языки тоже. Такое наболтают! — он катнул колесо за кулисы.

— И я жутко перепугался! — проскрипело одно полено.

— И я, и я!.. — затрещали дрова.

— Если бы не Анчутка, мы бы умерли со страху! — признался скрипун.

Фёдор воздел храбреца на пятерню, и тот расхохотался громовым басом:

— Ха-ха!.. Дрова умерли бы со страху! Вы вон как в печке весело трещите! И не боитесь! Вы же смелые!

— И ты смелый, Анчутка!

— Ты отважный!

— Самый храбрый!..

— Вот трещотки! — добродушно произнёс Фёдор. — А вы как думаете? — обратился к зрителям.

А они бесконечно рады были славить Анчутку, храбреца, и такого говорящего!

Малой Венька, Митрича внучок, надоумился после святок залезть в дедову шубу и выбраться в ней раным-рано на улку. Бессонная бабка Черкашиха за водой пошла — и увидела живую шубу! Мальца-то в шубной полости не было видно. Завопила Черкашиха истошно:

— Живая шуба! Люди добрые, шуба жива-ая!..

Переполошила всю Зимиху. А пострелёнок успел скрыться до разоблачения и как ни в чём не бывало дрыхнул на полатах. «Живую шубу» приписали Анчутке — забавнику и затейнику. Он и разыграл эту тему на очередном концерте в клубе.

Митрич, вечный сиделец на завалинке, в грозу, кою поэты любят в начале мая, совсем не поэтически руганулся. Его и жажнула мол-

ния. Тут же в завалинке и зарыли: якобы земля вытаскивает гибельный разряд из человека. И впрямь, оклемался через полчаса смертник. Словно заново родился. Радуга небесной аркой воссияла. Прохладной свежестью озона омыло души людские при чуде воскрешения.

Люди-дети... Проникшее в сознание зимихинцев краткое явление смерти-жизни поубавило у них легкомыслия.

Каратыгин укрывал землицей мёртвое тело и вынимал его, ожившее. И когда он попытался простовато, с Анчуткой, отразить это необычное явление, зимихинцы отнеслись к этой затее с недоумением. Явленная божественность читлась уже неприкосновенной, заветной!

Повесил нос Фёдор. От любви зрительской до неприятия — один шаг! Но погрузиться в переживания и уныния не позволила местная школьня. На праздник окончания учебного года позвала Анчутку. Он расстарался: привёл артистов театра корнепластики. Природа-искусница изваяла эти удивительные скульптурки. Фёдор Каратыгин оживотворил их, вдохнул в них голоса. Как очеловечил и куклу Анчутку.

Зимихинским верстовым знаком на пригорке по дороге из Ишима высилась ветряная мельница. Рабочий её скрип слаженно сопровождал весёлому ребячьему гомону, когда Фёдор в кошёвке подкатил со своим «театром» к родной школе — начальной. Добротная изба-пятитестенок под тесовой крышей образовывала ребятишек лишь до пятого класса. Далее отроки и отроковицы продолжали грамоту в казанской средней школе. «Семь вёрст до небес», — мрачно мерили образованность своих чад родители, снаряжая их в зимние стужи в дальний поход. Выручал Гнедко. На розвальнях доставлял «ломоносовых» к образованию.

Директор местной «началки» Арсений Константинович (Кескиныч) мечтал возвысить её до семилетки. Помочью, всем миром срубили пристройку. Она предназначалась для пятых-седьмых классов. А пока служила спортзалом и зрительным во дни торжеств.

И вот одно из торжеств наступило! Пожаловал сам Фёдор Каратыгин — краса и гордость

не только Казанского района, но и всего Приишимья. Слесарь МТС умудрялся совмещать трудовые будни с праздниками своих выступлений. Без Гнедка уже не обходился. Ширилась гастрольная география, пополнялся реквизит.

Сцену обычно составлял из «местных» столов. Перед ней сооружал золотисто-шёлковый занавес на штангах.

Малолетняя публика вздрогнула. Послышались оханье, кряхтенье, зевание. Звякнул от удара будильник. Занавес разошёлся. Перед зеркалом красовался Анчутка.

— Перед зеркалом я, и в зеркале я! — удивился он.

За кулисами раздался стук.

— Кто там?

— Это я!

— Вот это да-а! — воскликнул Анчутка. — И там я! Везде я!

Зрители засмеялись:

— Какой смешной!

— Умора! Сразу три Анчутки!

— Анчутка, ты же один!..

Из-за кулис появилась растрёпанная, в ключьях мха Кикимора.

— А-а, Кикимора, это ты-ы! Забодай тебя комар! — огорчился Анчутка. — А я думал, что это я.

Она хихикнула:

— В школе нас заждались. Ученики ждут! Айда, собирайся!

Занавес закрылся. За ним слышались возня, разноголосица. Он раздвинулся. На руке Фёдора радостно казаковал Анчутка:

— Привет, артисты! — обратился он к своей труппе, выстроившейся на сцене, и повернулся к зрителям: — Представляю достойной публике звёздный состав! Прима нашего театра — Кикимора!

— Ки-ки-ки!.. — захихикала она, застрекотала по-сорочьи, залихватски засвистела.

— Леший! Куролесит в лесах здешних!

Тот страшно ухнул, заскрипел.

— Совсем не страшно! — выкрикнул с первого ряда первышок, перешедший во второй класс.

— Каркашиха-пугачиха!

Раздалось оглушительное карканье, будто под потолком летала ворона.

– Корешок-кряхтунок!

– Веточка! Девочка-припевочка!

Та, в косыночке, тоненько потерянно заукала: «Ау!..»

– На вторых ролях коряжки, корявки, а также крякозябры и крякозявки.

Скучковавшиеся вторые недовольно загалдели. А ребяташки весело стали перебирать их забавные названия.

– А я-а-а?! А я-а-а?! – заблеял кто-то. – Меня-а-а не назвал, Анчутка! Забыл обо мне-е-е, ме-е-е!.. Рогулька я-я-а-а!..

– Ну вот, сама себя назвала! Извини, бывает! – развёл руками Анчутка и неожиданно спросил: – А кто из вас бедный?

– Ой-ой-ой! Я самая бедная! – захныкала Кикимора. – У меня копеечки нет!

– Зачем тебе копеечка? – проскрипел Леший. – В лесу всё есть: грибы, ягоды, орехи.

– Я в город хочу, конфетку купить!

– Хотеть не вредно, вредно не хотеть, – хехекнул Леший. – Да ты там всех детишек распугаешь! – он дико расхохотался. – Это я самый бедный! Леший-плеший!

– Леший-плеший! – засмеялись дети.

– Да, у меня даже шапки нет!

– У мухомора возьми, у него шляпа самая баская! – посоветовал четвероклассник, перешедший в пятый.

– Она ядовитая!

Все развеселились:

– Ха-ха-ха! Вот умора! Ты, что ли, есть её собрался?

– Кар-р! Кар-р!.. – гаркнула Каркашиха. – Ты, Лешак, врал! Никакой ты не бедный. Тебе белки шишки приносят.

– А ты – ябеда! – огрызнулся тот.

– Я – беда?

– Да, ты! Беду каркаешь!

Закряхтел Корешок:

– Я самый-самый пребедный! Подо мной кроты всё вырыли, погрызли.

– Ты ма-а-алый не дурак, и дурак не-ма-алый! – заблеяла Рогулька. – Ты что, червячками-букашками питаешься? Под тобой ручеёк. Вон сколько воды! Вон какой бога-а-атый!

– А я чо, а я ничо!.. – кряхтя, заоправдывался Корешок.

Школьня грохнула: известное чоканье всех проказников.

– А ты, Веточка, что молчишь? – спросил Анчутка.

– А я не бедная! – пропищала она. – Я – богатая! У меня есть Анчутка!

Фёдор за весь свой корнететр не проронил ни слова. Лишь при признании Веточки улыбнулся. Поднял её в объятия Анчутки.

Он поставил Веточку в сторонке от «бедноты», поправил ей косынку. Отыскал в «лесу» горбылёк, поместил его, одинокого, на авансцену.

– В одну деревню пришёл странник, – былинным голосом начал рассказ. – Он был горбун, и все смеялись над ним.

Кучёжка коряжек-корявок разразилась обзыватьствами:

– Ну и гора на спине!

– Ты поди и не видел, какой у тебя горб?

– Не каждый такую поклажу удержит! Силач, богатырь!..

– Не смейтесь над ним! – вскричала Веточка. – У него за спиной – крылья. Он – ангел! Он лучше вас!

– Он – ангел?!.. – захохотали негодники. – А ну-ка посмотрим, что у него там в вещмешке!

Анчутка подхватил горбунка и высоко вознёс перед залом:

– Видите, ребята, как он взлетел? Значит, права Веточка! Никогда не смейтесь, не обижайте слабых и болящих! Майский жук может кому угодно в глаз лупануть!

Все повернулись к окривевшему Федотке, злостному обзыватьщику. Сам директор совхоза катал на «полундре» школьню. Ура, канукулы! Ура!.. И майский жук пулей чиркнул по глазу Федотки. Едва не вышиб. Окривел малый! От него горбуньку Гане Сторублёвому покоя не было. Дообзывался! Правда, у Гани в горбу не крылья хранились, а сто рублей, как он заявлял.

Федотка насупил, захлопал носом, цыпушной рукой прикрыл окривевший глаз. Анчутка улыбнулся:

– Ничего, Федотка, до свадьбы заживёт!



Смех приободрил беднягу.

— А я чо, а я ничо!.. — вырвалась у него крылатая фраза зимихинских виноватиков.

Тимофей смолил на улке сигарку. Фёдор в слесарке клепал зубья шерботой бороны. Курёжку тятя закончил почему-то быстро. Дотронулся культей до плеча сына.

— К тебе приехали! — мрачно вато буркнул.

И прежде гонцы из клубов, школ, ферм, полевых станков наезжали, приглашали говорящего Анчутку. Теперь же у порога мастерской стояла «Победа». Сверкала лаком та же самая жёлтая, которую Фёдор «оживил» студёной ночью. Возле неё стояли мужчина и молодая женщина. В нём он признал «каракуля», в ней — Жанну! Это она коченела в ту стужу, слышала голос Каратыгина и не вышла. Её покровитель возглавлял отдел культуры Ишимского горисполкома, она вознеслась до инспектора гороно. Он в строгой тройке, на ней пиджак и юбка «карандаш». Визитёры выглядели чинно и благородно, как и подобает высоким чинам. Начкульт приглядел энергичную и симпатичную Вагнер на смотре худсамодеятельности. Предложил ей стать замшей; но она предпочла школьную работу и при его содействии выдвинулась на должность инспектора учебных заведений.

Каратыгин же в замазученной робе оробел. Неловкость его вызвала у неё смех, далёкий, русалочий, перехвативший у него дыхание.

— Фёдор, здравствуй! — прожурчала она.

— Здрас-сте! — выдавил он.

— Здравствуйте, Фёдор Тимофеевич! Здравствуйте!.. — затряс его руку спутник Жанны. — Спасибо вам! Спасибо! Выручили тогда, а то мы с Жанной Ильиничной наверняка замёрзли бы!..

Жанна прервала его излишняя:

— Фёдор, познакомься, Борис Самуилович! Начальник горотдела культуры. Я много рассказывала ему о тебе. Он заинтересовался твоими номерами чрево вещания.

— Да, мы к вам по этому вопросу!.. — интригующе посмотрел Борис Самуилович на Каратыгина. — У нас к вам предложение — выступить во Дворце культуры. Мы договорились со

знаменитой Зоей Гладышевой, которая видит пальцами. Она продемонстрирует свой феномен, а вы — свой!

Каратыгин неуклюже переступил с ноги на ногу и пристально посмотрел в глаза Жанны. Неловкая улыбка скользнула на её лице. Потаённая...

— Я подумаю... — проговорил Фёдор и, тяжело ступая, направился к мастерской.

— Мы заедем за тобой! — с надеждой крикнула ему вслед Жанна. — Через неделю!

Дрогнуло сердце Фёдора. Виноватая, потаённая улыбка Жанны виделась ему, смятенному. Смех её ручьистый слышался... Предложение выступить с ясновидящей взволновало.

По наитию взял с книжной полки подарок Жанны — «Мифы Древней Греции». Зачитался об оракулах, пророчицах. И как раньше не заглянул в эту книгу?!..

В древнегреческом мире особо возвеличивался бог Аполлон. Странное божество! Сын Зевса, брат Артемиды — вечно юный, солнечно прекрасный, покровитель искусств и пастбищ, посевов, скота! Потому в сельской Аркадии пастухи с любовью рисовали его в виде барана.

Незаурядный бог: охранитель от бед, целитель; сыну Асклепию передал дар врачевания. Сам, прорицатель, наделял даром предсказания пифий.

Когда он убил дракона, в Дельфах воздвигли грандиозное святилище Аполлона. В храме перед его статуей на треножнике восседала пифия. Вопросила бога о самом насущном. Получив ответы, невнятно бормотала, а жрец переводил сии откровения завлекательно, в стихах.

Оракул, место предсказания, и оракулы, сами пророчества. В храме Омфал особо славились. Ещё бы! Ведь Омфал — Пуп Земли.

К оракулам стекались паломники со всего древнего мира. Жрецы шныряли в толпе, вынюхивали сведения о многих. И Аполлон со знанием чаяний страждущих отвечал на их нужды через пифий.

Аполлон-прорицатель ворочал государственными делами. Только по его повелению назначались чины на высокие посты, начинались войны. С его позволения проводились

Дельфийские и Пифийские игры: музыкальные, поэтические, театральные, а затем и спортивные.

Пышным цветом расцвели оракулы по пришествии с Востока десяти сивилл-прорицательниц. Они умудрялись жить по тысяче лет, и их мудрость была неоспорима. За столь долгие века они собрали великое множество предсказаний. Эритрейская и Кумская сивиллы представили просвещённой древнегреческой публике «Книги сивилл».

*С самых истоков начав,  
возведу я судьбу поколений.  
Всё по порядку скажу  
от первого века и дальше,  
То, что случилось уже,  
что есть и что впредь ожидает  
Смертных людей, преступивших  
священный закон благочестья.  
Первым мне бог повелел  
рассказать правдиво о том,  
Как мир порождён был,  
а ты внимай моим песням прилежно,  
Смертный, чтобы из них  
ни слова зря не пропало.*

Завораживающая песнь! Туманно, призрачно, волшебное!

Предсказывая простакам будущее, загадочное и мрачноватое, сивиллы записывали и оракулы на потребу той или иной политической или религиозной силе. Давали советы по культовым вопросам, предвещали воинские победы. Назначали очистительную кару за пролитую кровь. Участвовали в составлении конституции, советовали, как улучшить законодательство.

В IV веке до н.э. сивилла из Кумы продала римскому царю Тарквинию три книги своих изречений. В них выражался протест против тирании тридцати в Афинах во главе с Кристием.

Олигархию, власть немногих, Аристотель называл вырождением аристократии, подавлением демократии, попранием мудрости древних: человек — мера всех вещей.

В 400 году Стилихон Флавий, один из правителей Западной Римской империи, повелел

сжечь негодные ему книги оракулов сивиллы из Кумы.

Однако они оставили свой след в церковной истории. В них указаны даты рождения религиозных организаций, некоторые из них существуют по сию пору.

Покровитель пастухов, муз и целитель Аполлон греков, осадивших Трою, покарал мором. Дочь троянского царя Приама Кассандру наделил даром прорицания. И влюбился в неё. Девушка отвергла — бога! Пережив позор под сенью своего священного лавра, оракульное божество придумало, как отомстить гордычке. Отныне её пророчествам никто не верил, над царевной насмеялись. А она предсказала падение Трои. При захвате города ахейцами Кассандра была обесчещена в храме богини Афины. Победитель Агамемнон взял царевну в рабыни и увез в Микены. Жена его Клитемнестра с любовником Эгисфом утопила мужа с его рабыней в терме. Сын Агамемнона Орест жестоко покарал убийц отца.

Вот такие античные страсти-мордасти! Захваченные ими, их изображали Микеланджело, Рембрандт, Гинторетто...

Несчастливая царевна-предсказательница Кассандра! Пророчествовала миру — свою судьбу проморгала.

— Сапожник без сапог! — простецки подытожил трагедию Кассандры Каратыгин.

И попробовал разобраться в сонме пифий, сивилл, прорицателей, предсказателей, жрецов, пророков, колдунов, ведьм, ведунов, волхвов...

Вот Жанна бы растолковала. Настолько она образованнее, выше, тоньше. Не ровня она ему, не чета. Не сладилось. Напевно, по памяти читала «Песнь о вешем Олеге».

*Волхвы не боятся могучих владык,  
А княжеский дар им не нужен;  
Правдив и свободен их вещий язык  
И с волей небесною дружен.  
Грядущие годы таятся во мгле;  
Но вижу твой жребий на светлом челе.*

Видеть туманное будущее, судьбы человеческие — редкий дар. Им наделяются свыше

особые люди — с чистой совестью, милосердные, божественные. Они чутко внимают вещим знаниям и делятся ими во благо страждущих. Чистые, они и видят будущее ясно, ясновидящие.

Самообманщики обольщаются мнимыми дарованиями. Якобы врачуют шептанием, глазом, мановением руки, наугад лезут в завтрашнее. Доверчивость простаков разжигает их пыл, укрепляет уверенность в своих способностях. Проходимцы, прохиндеи, ловкачи наживаются на ротозеях, обещая денёчки, полные счастья. Заряжают воду в бутылках для здоровья. Всучивают пучки приторно-сладковатых курящихся палочек для достижения оздоровительной позы хатхи-йоги. А после хатхи вершина нирваны — небытие. Был Каратыгин — и нету. Карачун! Вершина трансцендентного самоусовершенствования! Хатка самой нирваны-небытия. Дабы бесследно исчезнуть. Ау-у!.. Вот такое индийское охмурение!

Нет сласти слаще власти! Гордыня ввергает человечешек в пасть дьявола. Эта жвачка мнит себя на земле всемогущими: прорицает, исцеляет. И чрево вещает! Статуи Аполлона, варварские идолы — говорили! Исторгались дикие голоса и из вопрошающих. Поди разберись, что и кто изрыгает дичь! Во что, в кого залез пронырливый демон-искуситель?..

Одно к одному. Задай вопрос — ответ будет! В казанской библиотеке перелопатил подшивки центральных газет. В «Гудке» нашёл под заголовком «Феномен» искомое.

«Простая женщина Зоя Гладышева научилась видеть — пальцами! Она прославилась в Нижнем Тагиле. О ней ходило много слухов. Отец погиб на фронте, мать с отчимом забросили девочку. Она жила у бабушки. Когда та умерла, у Зои на нервной почве начались приступы эпилепсии. Она с трудом окончила семилетку, и её взяли санитаркой в больницу. Девушка участвовала в худсамодеятельности и руководила драмкружком в обществе слепых. Освоила азбуку Брайля. Надоумилась читать — вслепую! Лежала с ангиной в палате, завернула в наволочку медицинский справочник и с закрытыми глазами стала читать!

В местной газете о ней появилась заметка.

Зою Гладышеву пригласили в цирк. С завязанными глазами она читала, называла предметы, не прикасаясь к ним. В школе для слепых обучала их своему методу. Некоторые из них научились распознавать предметы на расстоянии, самостоятельно ходить по улице.

Как-то под стол упал журнал, она наступила на него босой ногой — и прочитала название «Модельер-конструктор». Многие её считают шарлатанкой: подсматривает, дескать, через повязку. Бытует и «чудесная» версия: якобы ей заранее раскрывается то, что следует разгадать. То есть Зоя Гладышева — ясновидящая!..»

Фёдор с жаром пересказал тятке заметку. Тот неловко потужился свернуть сигарку. Сын подсобил. В стёганой душегрейке, в моршнях, утеплённый Тимофей выглядел немощным стариком. Да он и не скрывал своей немочи, а выказывал её виноватым видом. Из-за него Фёдора в армию не призвали: старый отец-одиночка. Правда, и по другой, более веской причине: служивый в битве за урожай! Тимофей по-прежнему слесарил в МТС. Рабочих рук не хватало. И он со своей культей очень даже годился. Большую моральную поддержку старому хозяину оказывали Верный и Василий, тоже немолодые. Провожали его до околицы, встречали у калитки. Три с половиной рабочих рук. Невелика подмога, но избёнка помолодела, выглядела справно. Под Тимофеевым приглядом. Сын больше с Анчуткой возился.

Тимофей выслушал сына, пыхнул самосадам на парочку внимательных слушателей. Обычно они фыркали, тёрли лапами мордочки, а то и пускались в веселье. Теперь же и ушами не повели. Годы берут своё. По их возрастным меркам — старички.

— Слепцы учат видеть... — раздумчиво проговорил Тимофей. — Слепой поведёт слепых — все рухнут в яму! Понятно, кто её пальцами, якобы зрячими, водит и другие разгадки подсовывает. Падучая сродни одержимости, когда верх держит бес.

— Тятя, а как же дети? — засомневался Фёдор. — Научились же они с её помощью ходить без палок и поводырей.

Тимофей погладил верных слушателей, истомившихся по ласке. Оба старичка, разомлев, пискнули, словно кутята малые.

— Одна такая сотнями «исцеляла»! — посулов Тимофей. — И что с ними стало?.. У иных болячки лишь обострились; другие в уныние впали, в душевное расстройство. Подошёл к этой «целительнице» батюшка, у него в нагрудном кресте щепочка Креста Господня хранилась. Дико завопила самозванка, чтобы убирался старик. Враг умеючи раздувает самость человека; и тому мнится, что он такой способный, необыкновенный, повелевающий людьми. Слухи о силе его разносит сарафанное радио. Вот и прутся простачки за чудесным, скорым выздоровлением к лжецелителям, прельщённым бесами тщеславия и наживы.

Фёдор слушал отца, раскрыв рот. Пёс с котом пораскрывали рты: то ли от духоты, то ли от удовольствия. И Анчутка будто бы завозилась в шкафу. В Тимофее Каратыгине, повидавшем мир с Топтыгиным, таились немалая мудрость и красноречие.

— Тятя, мне тоже говорят, что я способный и необыкновенный. Не прельщённый ли я, как ты говоришь?

— Такая опасность подстерегает. Пока ещё ты не возгордился. В отличие от лжецов, ты вытрудил свой дар первородный... Э-эх!.. — неожиданно воскорбел Тимофей. — Не надо было мне очеловечивать Топтыгина, делать его ровней себе. Некоторые батюшки в старину приручали медведей и даже львов. Звери с любовью относились к ним, помогали — святые старцы утишали всё злое, животную злобу, звериную. Божии люди обращали зверей в братьев меньших. Я же, грешный, бываю зол и в Михайле Потапыче не извёл зла. С голодухи он и позарился на меня. Да и верховодить захотелось, быть главным, единственным. Сколько якобы покладистых, домашних игрушек, тигров и леопардов, показало свою власть над хозяевами! Сколько растерзано хищными кошечками беспечных содержателей зверья! Очеловечили на свою голову. Как бы Анчутка не сместил тебя, сын, — он усмехнулся. — Не заиграйся!

— Тятя, так ехать мне в Ишим? — засомневался после его откровения Фёдор.

— Езжай, убедись сам, что это за птица, которая всё видит. Да поостерегись, как бы не подхватить там заразу! Здоровая душа — здоровая жизнь! На дорожку поучительную будь поведаю.

После последней затяжки Тимофей выдохнул голубоватое кольцо дыма, прокашлялся и тоном сказителя начал быть:

— Зазвал царь из Неметчины Брюса. И выделил ему башню, чтобы считать звёзды. Брюс составлял календари. Они предсказывали погоду и что будет. В ветхих летах умудрился Брюс составить из трав и химических порошков молодильную силу. Про это зелье прознал царь. Он ужасно боялся смерти. Заявился со свитой к Брюсу в башню, где тот колдовал над каплями супротив самой смерти.

— Приветствую вас, ваше величество! — склонившись над пузырьками, не открывая рта, произнёс старик.

— Как ты посмел, ничтожный, без поклона, не открывая рта, разговаривать с царём?! — закричал взбешённый царь и смахнул колбы, пробирки и пузырьки с бессмертием на пол. Они разбились. О них, чудотворных, никто после и не вспоминал. А о речи Брюса с замкнутым ртом переползли слухи и в сю пору...

После бесславной кончины Брюса в башне нашли множество пергаментов, свитков, где учёные мужи древности, египетцы, еврейцы, римцы излагали опыты врачевания, предсказания, чрево вещания.

— Почему ты мне это не рассказывал? — вознегодовал Фёдор.

— Всему своё время. Вот ты — не чрево вещатель. Не нутро же твоё говорит. Ты рот свой приспособил, дыхание, тренируешься упорно. Брюс не был чрево вещателем. Сучность говорила в нём. Все эти алхимики, искатели бессмертия волей-неволей впускают «гостенёчков». И ведь знают многие, что только Господь ведаёт бессмертием. Наушаемые нутряными сидельцами, изводят себя.

— Да, не предугадал всезнающий Брюс, что царь заявится, что не стоило так неучтиво вести себя с ним.

– Гордыня!.. Надеялся, что тот, кто возвеличил его, уберёжет от случайностей. Но ничего случайного нет! Это непознанная закономерность. Она – в ведении Бога... Вот и суди теперь, сын, о чревовещаниях. Нет их! Найдётся ли такой искусник, утробушка которого издаст по его воле пару-другую слов. А надо ли?..

«Чревовещателей нет!» Резко сказал отец. Им, несуществующим, поклонялись в оракулах толпы, умоляя о помощи. Взглянув вверх, колена преклонённые на фронте Дельфийского храма читали: «Познай себя сам!» Святилище Аполлона требовало поклонения, подчинения воле божества – и призывало к самопознанию! Такое вот лукавство жрецов!.. Надо ли искушать утробушку – подлинную чревовещательницу? Что ж, познай себя сам, Фёдор Каратыгин!

В мастерской на перекуре послышался вой.

– Мужики, откуда это? – прислушался Фёдор. – Чьё голодное брюхо завывает? Или моё? Или ветер в пустой бочке?

Мужики пощупали свои животы, в недоумении переглянулись: вроде как и у них что-то такое...

– Слышите, уже не волчий вой, – вновь прислушался Фёдор, – а прям народные мотивы: «Во поле березонька стояла...»

Бригада грохнула и разом гаркнула:

– В бочке! Ветер!

Фёдор же «вину» ветра взял на себя, хотя и не был уверен, что завывало именно у него. Бригадир с хохотом супружеским недоразумением поделился:

– Тычем с Нинкой друг дружку в животы: у кого бурчит? Смеёмся оба, понять не можем, у кого.

С той эмтээсовской завирухи Фёдор стал примечать, что его мужицкий живот очень даже не прост! Тщательно прислушивался. Такое вытворяет! Пуше всего выражает недовольство: «Ой-ой-ой!..» Булькатит, бурлит, лает, воет, мяукает, блеет, хрюкает, скрипит, хрипит, повизгивает, каркает, крикает, квохчет. С удовольствием в животе квакали лягушки! Но чаще он бурчал. И Фёдор назвал создателя этого «концерта» Бурчалкиным. Тот возманился и стал помывать Каратыгиным. Будил его в пять утра рёвом и бурей в утробе. Караты-

гин же изо всех его звукоизлияний, как из мазков, живописал картину «Утро в деревне». Потчуя Бурчалкина боевым гороховым супом, добивался от него картины утра: резкие хлопки петушиных крыл, кукареканье. Свист, выстрелы пастушьего кнута, мычанье, бляенье, хрюканье. Простокваша «обогащала» утреннее подворье: квохтанье, кряканье, гогот, лай. И вся эта горячая смесь из гороховки и простокваши раздражалась свистом конских грив и бурным топотом табунов. Многоголосье птичьего пения разливалось зарёй. Здравствуй, утро раннее! Вот это настоящая вентрология, подлинное чревовещание!

Голодный Бурчалкин жалко тьявал, свирепел и издавал дикий волчий вой.

– Ария голодного из оперы «Дай пожрать!» – с пафосом объявлял Фёдор своей домашней публике этюд Бурчалкина. Василий и Верный понимающе вострились уши. Тимофей с удовлетворением гладил поредевшую бороду:

– Совсем другой коленкор! Однако слова где, слова?

Утробушка виновато бормотала и звонко голосила: «Ой-ой-ой!»

– Этого маловато! – качал головой Тимофей.

Ойканье у Бурчалкина получалось отменно, так же, как и у Анчутки. Но говорить пока он не сподобился. Наетый-напитый, голодный Фёдор затаивал дыхание, придавливал брюшным прессом воздух, и утробушка «произносила» калябушки; так калякают младенчики. Лопотала, лепетала, и в этом «говоре» порой слышались не только слоги, но словечки: нет, кака. Глубоко и сладко дыша, Фёдор поругивал Бурчалкина:

– Сам ты кака, поперёшный! Всё у тебя «нет» да «нет»!

Зато с Анчуткой уже не неволил себя, отпала нужда напрягаться. Упражнялся привычно, легко. Репетировал с желанием, с удовольствием. Вживание в образы, вчувствование, увлекательные искания сценок, послушное дыхание и речевой лад – всё его естество наполнилось некоей подъёмной, полётной, вознесущей силой. Неизведанное, непроходимое – преодолеваемое!

На рыбалке, ежели приходилось заночевать,

Тимофей с сыном ставили шалаш подальше от журчащей речки. Но и в отдалении подчас слышался людской говор, галдёж толпы, а то и душераздирающие крики.

– С ума можно сойти! – нервничал Фёдор.

– И сходят! У Ренёвых чапельник или ко-черга грохнется – а как будто у нас. Вот такие эффекты!

И Каратыгин-младший не использовал эффект отдалённости. Придавал звуку, голосу полётность – и тот летел в нужном направлении. Фёдор овладел эффектом, его он назвал – отара звуков, при котором происходило оживотворение пространства. Такое мастерство послужило в крепость его незаурядного искусства.

Однако случались и спотыкачки. Запершило как-то в пересохшем горле – надсадил чрезмерным выступлением. В самой концовке неожиданно выручил Бурчалкин...

Выступали с Анчуткой в райцентре. Поскольку Казанское было раньше купеческим селом, решили напомнить казанцам о былом.

– Одна купчиха, – Фёдор, в образе, поправил кружевной чепец, одёрнул сарафан из миткаля, – гордилась своим фруктовым садом, который славился на всю волость. За садом ухаживал и охранял его сторож-садовник. Однажды купчиха собралась в Москву за товаром. Но сторож-садовник умолял её отложить поездку.

Анчутка в позе внимательного слушателя, разинув рот, сидел на первом ряду. Каратыгин вознёс его на правую руку, тот, горестно вздохнув, загадочно закатил глаза:

– Госпожа, я видел сон! – после трагической паузы продолжил: – Поезд из Ишима, на котором вы поедете, потерпит крушение! – «сторож» драматически воздел руки.

И впрямь вскоре пришло сообщение о катастрофе. Спасённая позвала сторожа, нахмурилась, построжела, у неё запершило в горле, и она с сипением выдавила:

– Ты уволен!

«Сторож» должен был возмутиться: как так, он же спас госпожу?!.. Но у Анчутки пропал голос. Он растерянно развёл руками, беззвучно открывал и закрывал рот...

– Ой-ой! Нет! Как? За что?!.. – уроки Фёдо-

ра с Бурчалкиным не прошли даром. Выручил чрево вещатель, заговорил! Ошеломлённый, счастливый Каратыгин, взмокший от волнения, сдёрнул чепец с головы. Прокашлялся, просипел:

– Друзья, почему купчиха уволила сторожа-садовника? Ведь он спас ей жизнь!

Загалдел зал в поисках ответа, возмущаясь неблагодарной купчихой, недоумевая...

К сцене подсемила старушка с лукошком, поставила его к ногам Каратыгина:

– Бери, милоч, там сырые яйца, очистят горлышко твоё натужное. Бери, не откажи!

– Спасибо, бабуся! – поклонились ей Фёдор с Анчуткой.

Каратыгин посадил напарника рядом с лукошком. Взял яйцо, поставил ему крепкий щелбан, кокнул. И в позе горниста выпил. Зрители развеселились: юморная придумка с яйцами! Хотели старушку спросить, но она скрылась от любопытных глаз, от излишнего внимания к себе. Они же забыли и про зловредную купчиху.

Фёдор сладко почмокал, прокашлялся:

– Вот это другой коленкор! – и бархатным голосом напомнил вопрос:

– Так почему же купчиха уволила сторожа? Сто-ро-жа! – повторил по слогам.

Завопрошали друг дружку зрители, не находя ответа. Каратыгин указал рукой в зал:

– Как вы думаете, товарищ, на пятом ряду, третье место?

– Индюк думал – и в суп попал! – несуразно пробурчало с указанного места.

Зрители повернулись туда. Но там никого не было!

– Девятый ряд, седьмое место, вижу, вы догадались!

– Спать на работе не надо! – пробасило оттуда.

Но и там никого не было!

– Он нас дурит! – заверещала какая-то истеричка.

Зал взорвался, ничего не понимая.

– Да-да, спать на работе не надо!.. – повторяя отгадку, зрители обрушили на чрево вещателя шквал аплодисментов.

Он и на люстре мог бы поместить голос, да побоялся свергнуть зал в полную смуту.

С Анчуткой в футляре, с лукошком яиц Каратыгин вышел из Дома культуры победителем. Он — истинный чревовещатель! Единственный и неповторимый! Его поджидала добрая старушка, спасшая от позора.

Баба Маня сидела на овощном базарчике с зеленушкой и яйцами. Услышала от соседок, что в Казанку приехал чревовещатель. Подхватила и поспешила в Дом культуры. Выступление завершалось, и у чревовещателя случилась заминка с голосом. Он у него внутри был запрятан и надсадился. Баба Маня подсобила с яйцами. Со своей материнской болью ждала чревовещателя на улке.

— Милок, сын мой подался на северá за длинным рублём. И вот уже полгода ни слуху ни духу.

— Замёрз. Лютая стужа, — отрешённо ответил Каратыгин: он — и не он.

Старушка осунулась, скомкала платочек у глаз, перекрестилась и пошаркала к церкви. Каратыгин в оцепенении смотрел ей вслед. Внутри захолонуло. Кто же ответил?.. Не Бурчалкин же? Кто?.. Одно дело развлекать, показывать своё искусство. Совсем другое — вмешиваться в людские судьбы не по своей воле. Стало не по себе. Внутри будто кошки скребли. Так и спятить можно!..

Анчутка в футляре. Лукошко с яйцами. Первый гонорар!.. Улыбнулся слабо и потащился по сумеречному большаку домой.

Сварили «гонорар», попотчевались. Старики улеглись почивать. Фёдор сел на крыльчке. Ночь звенела пением цикад. Туманности кисеями колыхались в небе... Оттуда ли черпал Брюс тайновидные знания? «Много будешь знать — скоро состаришься!» — шутит тятя. Знание углубляет печаль. Судьбы прихотливые тайновидцев, участь незавидная Кассандры, Брюса. В средние века чревовещателей топили в реках, сжигали на кострах, рубили мечами. Всех под одну гребёнку: светлых пророков, тёмных бесовых, проходимцев. Вентрологов было мало: надобны незаурядный речевой уклад и дыхательный, непрестанные упражнения, артистизм. Но этих искусников причисляли к колдунам. Просвещённый XIX-й счёл

их редкий дар особым видом развлечений. Они стали выступать в цирке, на эстраде. Но даже в нынешнее время их изгоняли порой. Слабонервные впечатлительные дамочки, потрясённые говорящей куклой, заходились в неудержимом смехе — до инфаркта! Слава такого «криминального» артиста возрастала. Пытливцы же догадывались, что тут дело нечисто, замешана мистика. Какая может быть истерика из-за куклы, хоть и говорящей?..

Подобные подозрения в некоем вмешательстве закрались и у Каратыгина. И у него уже побывала истеричка. И ответ бабушке неведомо откуда взялся... С тятей не поделился такими странностями. Встревожится старый. Осудит или нет?.. Бабушка с добром, с надеждой — а он так жестоко! Хоть бы ошибся! Солдаты с фронта и после похоронок приходили. А тут ходок за длинным рублём. За пьяным. Сколько таких ходочков гибнет! Получат бешеные деньги и не совладают с ними. Упийцы. Снег — мрамор несчастным. Такова горькая правда жизни. Из неё изошёл ответ.

Млечный Путь раскинулся васильковым полем. Успокоил. Возомнился: не чета, дескать, заурядным чревовещателям! Вот и мнится всякое...

Заехали, как и обещали. Оба сияли от избытка жизни.

— Подожди часок. Надо документы в районо отвезти, — деловито отчеканила Вагнер. — А ты пока сходи домой, переоденься.

— Да ладно, я уж сыпотиха сам как-нибудь! — обрадовался Фёдор: больно было видеть счастливую парочку.

На днях пустили «пазик» от Казанки до Ишима.

— Районо... — отрешённо бормотал Каратыгин, усаживаясь с Анчуткиным футляром в автобусе, — райисполком, райком, райпотребсоюз, райзаготзерно... Райская жизнь! — усмехнулся он.

Подскочила билетёрша. Каратыгин пошарил по карманам, обхлопал себя, растерянно развёл руками.

— А денежки-то тю-тю! Ха-ха!.. — рассмеялся кто-то рядом с безбилетником. — У меня они!

Фёдор заозирался, заглянул под сиденье. Пассажиры тоже начали искать «виллипута».

— Ничего не знаю! — грозно подбоченилась билетёрша. — Нет денег — вылезай! Шас шофера позову.

С кондукторского сиденья раздалось разухабистое пение:

*Мама, я шофера люблю!  
Мама, я за шофера пойду!  
Он на «пазике» гоняет,  
Много денег получает,  
Вот за это я его люблю, да-да!*

Все ошарашенно повернулись к пустому месту. А оттуда донеслось:

— Я денежку в футляр засунул!

Каратыгин достал из чемоданчика плату за проезд.

— Вот какой у вас друг мошенник! — покачала головой билетёрша. — А где он?

— Через окно вышел, — указал обилеченный на открытое окошко. — Он всегда здесь выходит.

— На ходу?!.. — ахнули пассажиры.

— Он цирковой лилипут. За ним и не углядишь!

Разминка удалась.

Автостанция находилась рядом с ж/д вокзалом. На перроне гуляли козы во главе с предводителем. Он тряс мексиканской бородкой и мексикал, точно посмеивался. На него таранился гражданин, смахивающий на счетовода: пузатенький, с пузатым портфелем, одетый во всё парусиновое. Будто щитом, он прикрывался портфелем от саблевидных рогов. Но животина нападать не намеревалась и успокаивала трусишку козлетоном, столь популярным на эстраде.

Фёдор тут же сочинил частушку:

*На Ишимском на вокзале  
Козла нашли без головы.  
Пока голову искали,  
Ноги встали и ушли.*

Вот с чего Анчутка начнёт выступление! Зал грохнет, конечно: провинция-матушка!

И полетят подмётные писульки в инстанции! Школы в этом эпистолярном жанре доноса преуспели: кукла клеветает на школы самой читающей страны в мире! Ж/д возникнет: кукла клеветает на советскую железную дорогу! Бесхитростная сценка «врун» подняла стаю таких «голубей».

В одной деревне жил неисправимый враль. Он так всем надоел, что его послали в соседнюю деревню: вот там врун так врун, отъявленный, завиральнее нет!

Пошёл враль в ту деревню. Ему указали нужную избу. Возле неё сидел малыш. На вопрос, где отец, ответил:

— Небо порвалось. Папа пошёл его штопать.

Ахнул враль: если ребёнок так заливает, то каких же тогда высот во вранье достиг папаша?!..

Посрамлённый, вернулся врун домой и перестал врать.

И понеслось!.. Кукла клеветает на передовые общественные силы! У нас сознательные граждане! Ум, честь и совесть нашей эпохи! И обвинять их во вранье — лить воду на руку акулам империализма!

Каратыгин потрепал мексиканскую бородку козлетона. Тот не обиделся и возглавил стаю своих козочек.

За приземистым зданием вокзала стояла колонка. В луже, в ряске пузырилась жаба, квакнула, будто гавкнула. Малахитовая, в бородавках, лупила очами красавица! В привокзальной скобяной лавке Фёдор купил ведро, налил в него из колонки воды и плюхнул туда «красавицу». Она недовольно зафыркала, заворчала, точь-в-точь как Бурчалкин! У лужи Каратыгин сорвал камышинку: сгодится при занимательной затее.

Между колоннами Дворца культуры пообвисла афиша. На ней слева протянула к уличным зевакам свои зрячие руки «Знаменитая пальцевидающая Зоя Гладышева». От них исходили лучи похлеще рентгеновских — всепроникающие, всевидящие!

Справа лыбилась клоунская рожа с бордовыми губищами. Под ней прыгали размалёванные буквы: «Популярный чревоещатель Фёдор Каратыгин и Анчутка».



С ведром и чемоданом «популярность» поднялся по ступеням дворца. В вестибюле колготился народ. К Фёдору подошла Жанна с начкультом. Учтиво поздоровались. Она окинула Фёдора томным взором. Выглядел он вполне пристойно: свободная рубашка сталистого цвета, чуть расклешённые атласные брюки. Артист! Но ведро возмутило её:

— Ты что, сдурел, Каратыгин? С ведром, во дворец, на сцену!

— Не трожь! — осадил он Вагнер. — Здесь царевна!

— Ну что-нибудь учудит! — чуть ли не с гордостью пояснила она начкульту.

Русалочий смех, глаза с поволокой, томный взгляд, потаённая улыбка... Булькнула в ведре «царевна», квакнула.

— Я так и знала! — ручьиисто рассмеялась Жанна. — Ну, удачи тебе, Федя!

Администраторша повела Каратыгина в его гримёрку. В соседних апартаментах вокруг пальцевидящей суевила обслуга. Примеряли туфли-лодочки в блёстках, подгоняли платье в люрексе, завивали узел с хвостом на голове, макияжили. Люрекс обтягивал девичью фигуру, лицо же напоминало фантомасовское. На нём выделялись глазки-буравчики. Сверлящий взгляд ощутил на себе Фёдор, когда проходил мимо полуоткрытой двери гладышевской гримёрной. Он даже приостановился. Она продолжала всверливать в него нечто нездоровое, нечистое. И вот — двустволка глаз!..

С чемоданом и с ведром Фёдор ушмыгнул в свою гримёрку. Отдышался, будто марафонец. Ополоснул лицо в умывальнике — смыл нечистоту дурных глаз. Но пыльца зудящая осталась. Чтобы утишить раздражение, принялся за артистку. С лампочки свисал серпантин клейкой ленты для погубления мух. К ней прилипла деревенская зелёная баба-муха. В городском культурном заведении — такое чудо! Этим лакомством Фёдор угостил жабу. Она чавкнула, как собачонка. Ещё уставилась просяще. Слостёна!

Каратыгин был истинным слесарем, на указательном пальце содержал длинный, острый ноготь: им подцеплял необходимые гаеч-

ки-винтики; как отвёрткой ввинчивал шурупы. Сейчас этот незаменимый «инструмент» пригодился как нельзя кстати. Из ленты скроил корону с зубчиками. Камышинка подсохла, на неё надел наконечник — тоже из ленты. Вполне подходящая стрела для Ивана-царевича!

Водрузил жабу на перевёрнутое ведро. «Сидеть!» — приказал. Послушно повела себя. Украсил жабью пупырчатую голову короной, сунул в рот стрелу. Вылитая Василиса Прекрасная!

— Моя ты хорошая! Красотуля! — заворковал Фёдор. — Исключительно замечательно! Ну как, Анчутка, глянется?.. Ишь, засмотрелся словно на мисс мира!

Тот выглядел браво: огневой чуб из-под картуза, нагловатая ухмылка, красный кафтан в узорах, яловые сапоги-скороходы с загнутыми носками.

Труппа готова к покорению Ишима!

Между тем сей достопочтенный град обаяла своими «глазастыми» пальчиками Зоя Гладышева. Блистая люреksom, она снизошла со сцены к зрителям. Заприметила ридикюль, расшитый бисером, на коленях молодящейся дамочки. Небрежно прикоснулась к нему и вознесла указательный палец кверху:

— Пудра, помада, духи, румяна, зеркала, ключи. И мулине! Семь мотков, семь цветов! Каких, как вы думаете, уважаемая публика?.. — не дожидаясь ответа, продекламировала: — Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!

— Тётенька, а я ещё знаю! — по-школьному поднял руку белобрысый мальчуган. — Как однажды Жак-звонарь головой сломал фонарь!

В зале понеслись смешки. Гладышева скривилась, нервно мотнула хвостом на затылке:

— Да-да, мальчик!

Бесцеремонно взяла у оторопевшей дамочки ридикюль и высыпала из него на подол её юбки содержимое. С торжествующим видом продемонстрировала парфюм из ридикюля. И наособицу каждый моток цветных ниток для вышивки:

— Красный, оранжевый, желтый... Ну, дальше сами!

Всеобщего вовлечения зрителей не получилось. Лишь отдельные голоса продолжили:

– Зелёный, голубой, синий, фиолетовый.

Гладышева осталась и этим довольна. Подошла к невзрачному пареньку. По-свойски похлопала его по плечу:

– Ну вот, и на твоей улице праздник! Что это у тебя в кармашке заветное? Платочек вышитый, драгоценный. С твоими инициалами. Батистовый. Вензель на нём: «ВА». Не так ли, Виктор Александрович? Ну-ка, достаньте своё сокровище!

Парень стушевался, вынул из нагрудного кармана пиджака платок. Гладышева выхватила его и замахала, словно флагом:

– Анаграмма «ВА»! Виктор – победитель! Македонский тоже был Александром. Тоже победитель всех народов! Все победители!.. А девушка где твоя, Витёк?

– Вы же всё знаете, – робко проговорил «победитель».

– И всё же?.. – не унималась ясновидящая.

– В роддоме она.

– Ну ты действительно герой! Поздравляю!

Она засунула платок в карман пиджака смущённого паренька. Взошла на сцену, воцарилась на стуле. Ассистентка натянула на её глаза чёрную повязку.

– А теперь я хотела бы что-нибудь почитать! – капризно заявила Гладышева. – Есть у кого-нибудь с собой книги, газеты, журналы?

Мужчина в ковбойке поднял руку с журналом, свёрнутым в трубку, поднялся к Гладышевой. Она развернула журнал, завернула его в павловопосадский расписной платок. Уселась на него и вскричала:

– Ой-ой, жуть какая! Больно-то как! На крокодила села!

Вскочила, эффектно сдёрнула с журнала платок. Вздывая руки, продемонстрировала ахнувшей публике журнал «Крокодил»!

Триумфально прошествовала в гримёрную. Её облепили назойливые шелкопёры:

– Как так, видя пальцами, вы скрывали, видя ещё и...

– Вы думаете, я ещё и задницей вижу? Да я, входя в ваш Дворец культуры, уже знала, у кого что!..

Она расхохоталась и захлопнула перед газетчиками дверь гримёрной.

Каратыгин был потрясён. Она изгалялась. И в этом изгале чувствовалась некая сила...

Его вызвали на сцену. С Анчуткой на руке и с ведром он вызвал ехидные смешки. Но ведущая представила его в самых превосходных степенях, даже поэтически:

– Чревоещатель Фёдор Каратыгин и его друг Анчутка! Фёдор обрёл редкий дар необыкновенной речи с замкнутым ртом, тихие уста сомкнувши!

Анчутка приставил ладонь к уху. В открытых дверях зала послышалось бляенье.

– Кто пригнал коз во Дворец культуры? – возмущённо вскинул руку в сторону отары звуков. – Где пастух?

Со свистом оглушительно выстрелил кнут. Отара звуков стихла. И Анчутка, взбив пламенный чуб, прочастушил: «На Ишимском на вокзале...»

Зал грохнул. Не успели зрители опомниться, как перед ними предстала жаба на перевёрнутом ведре. В короне, со стрелой во рту. Фёдор забрал стрелу и передал её Анчутке. Царевна-лягушка затосковала:

– Ква-кван-ква-кваревич!..

– Я не Иван-царевич! – осерчал чубатый и с гордостью воскликнул: – Я Анчутка! Тоже мне, Василиса Прекрасная!..

Рукоплескание, безудержный хохот, потрясение. Многие впадали в изнеможение.

Фёдор отправил «царевну» в ведре за кулисы. Однако кваканье послышалось в зале.

– Ах, ты вон куда ушлёпала! У тётеньки в ридикюле спряталась!

Дамочка, «осчастливленная» Гладышевой, шёлкнула шариками ридикюля, приоткрыла его – оттуда послышалось громкое кваканье. Женщина завизжала и полуобморочно закатила глаза, обмякла в кресле, уронив ридикюль. Каратыгин кинулся успокаивать её. Увидев наклонившегося над ней Анчутку, она завопила:

– Кто ты-ы!.. – и упала в обморок.

Взбудораженный зал загудел. А с люстры раздался дикий хохот. Громовые раскаты его сотрясли дворцовые своды. Звенькнули стеклярусные висюльки на люстре. Всё стихло...

Потрясённые люди обернулись к сцене.

Пустой. Убитый всем происшедшим, Каратыгин с Анчуткой, бросив ведро с жабой, поспешил из Дворца культуры. У лестницы его ждала жёлтая «Победа». Возле неё стояла одна Вагнер. Начкульт остался в машине. Надушилась. Дорогие духи кавалер подарил.

— Тебе, Каратыгин, надо врача иметь в своей труппе, чтобы среди зрителей не было трупов! — она язвительно усмехнулась.

Он понуро выслушал её тираду и согласно мотнул головой.

— Тебя отвезти в Зимиху? — участливо предложила она.

Он отрицательно покачал головой:

— Спасибо!

— Ну тогда вот тебе на дорожку! — она засунула ему в карман рубашки хрустящую сотенную. — Твой гонорар!

Омыла русалочьим смехом и укатила.

Возбуждённые зрители повалили с потрясающего концерта.

— С женщиной инфаркт!

— Она скончалась?

— Её на скорой увезли!

— Даже аверьянки не нашлось для неё, сердешной.

— Да она нанятая артистка!

— Ты у меня, Евдоха, от Анчутки говорящего в изнеможении пала.

— А ты-ы!..

— А эта, пальцами видящая, ещё и задницей крокодилов видит. Негоже так-то! Женщина всё-таки — и такое непотребство!

— Серой от неё пахнет.

— Он-то сам молчит, как рыба галилейская, а Анчутка его базарит!

— И кто там говорит, неизвестно.

— Отплыли колокольные звоны. Эвон какие чрева вещают!..

Направился к ресторану на берегу Ишима... Всё ещё оглушал дикий хохот. Будто из преисподней. Казалось, рухнет здание. «Эвон какие чрева!..» Понятно, какие! Пифии, сивиллы, кассандры, брюсы, гладышевы, каратыгины — подельники!..

Потрогал карман рубашки: приятно хрустнула свеженькая сотенная ассигнация с Ильичом. Работяга за смену семь с полтиной зара-

батывает. Лектор в клубе выступал, за час пропаганды отхватил пятнадцать рубликов. А тут на какого-то Каратыгина свалилась астрономическая сумма! Интересно, Гладышевой сколько отвалили? Знаменитость! Наверняка сотни три...

Река Ишим, ресторан «Арагви». Швейцар в «адмиральском» мундире, в золотых позументах, с галунами, встопорчился, ещё издали завидев деревенского охламона с дыроватым ящиком. Метнул на вахлака уничтожающий взгляд.

— Местов нет! — непроходимо встрял он в двери с массивными медными ручками.

— Для тебя нет! — раздался грозный бас из футляра.

Служака выпучил глаза: в такой чемоданчик взрослый мужик не влезет. Парень даже рта не открыл. Вахтёр очумело заозирался.

— Этот господин со мной, — бас уже слышался рядом с вахтёром. — Понял ты, швейцарец зарубежный? Что, не видишь меня, слепошарый? И как таких на такую ответственную работу берут? Уволю!..

Швейцар ушмыгнул за дверь. В пустом зальчике одиноко куковал «парусиновый» счетовод, обставленный бутылками «Жигулёвского». Каратыгин выбрал соседний столик. Посадил рядом с собой на стуле Анчутку. Он впервые находился в столь важном городском заведении общепита. Иные зимихинские Акакии и Фалалеи никогда в жизни не покидали деревню. Зато маменька Фёдора «обжилась» в городе до самого своего погубления. И он повинился за беспамятство о ней. Совсем зачерствел.

Официантка, курносая деваха, в фартуке, отнюдь не с берегов Арагви, положила перед Каратыгиным картонку с заголовком «Меню». Для приличия он провёл пальцем по этой прописи и заказал родную картошку с мясом. Она принесла гуляш с пюре и спросила:

— А пить что будете?

— Что пить будем, дорогой? — обратился Фёдор к Анчутке.

Тот, вальяжно развалившись на стуле, выпалил несуразицу:

— Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!

– Вот видите, – указал Каратыгин на Анчутку, – всё знает! Принесите, голубушка, две стопочки «Столичной» и пару солёненьких огурчиков!

Утирая лицо фартуком, в слезах, деваха убежала на кухню:

– Там мужчина... С ним кукла... Говорит!..

Кухарки высмеяли её:

– Ты, Клава, выпила, что ли?

Счетовод под изрядным хмельком потребовал говорящую куклу за любые деньги. Сошлись на червонце. Каратыгин расстался с Анчуткой. Дрогнуло сердце. Стерпел, виду не подал, что переживает. Анчутка, чертёнок – сколько с ним натерпелся!.. Порой казалось, что Каратыгин есть Анчутка! Заигрался с ним...

– Всё, с этой минуты я не скажу больше ни слова! – отрезал Анчутка, осыпаемый пьяненькими поцелуями нового хозяина.

Это были его последние слова.

– Антиресно мухи пляшут! – с радостным юморком проговорил Тимофей, когда вечером Фёдор устало пришёл домой. Круто посолил ломоть чёрного хлеба и подал сыну. Верный и Васька, разинув рты, во все глаза взирали на это священнодействие.

### Примечание

<sup>1</sup> Будь ты пров! (*ругательство*) – Да провались ты!

<sup>2</sup> Расквелить (*или расквилить*) – раздражить.

<sup>3</sup> Сыспотиха (*диал.*) – медленно.

<sup>4</sup> МТС – машинно-тракторная станция.

<sup>5</sup> Паужна – прием пищи между обедом и ужином.

<sup>6</sup> Прова – от слова «провалиться», т.е. «Да провались ты совсем!»

### **Владимир Николаевич ВЕЩУНОВ**

*родился в 1945 году.*

*Окончил художественное училище и педагогический институт.*

*Работал дизайнером, воспитателем детского дома,*

*учителем в рыбацком посёлке Приморья,*

*редактором Дальневосточного книжного издательства.*

*Публиковался в литературных журналах.*

*Автор книг повестей и рассказов.*

*Член Союза писателей России.*

*Живёт в Нижнем Новгороде.*

